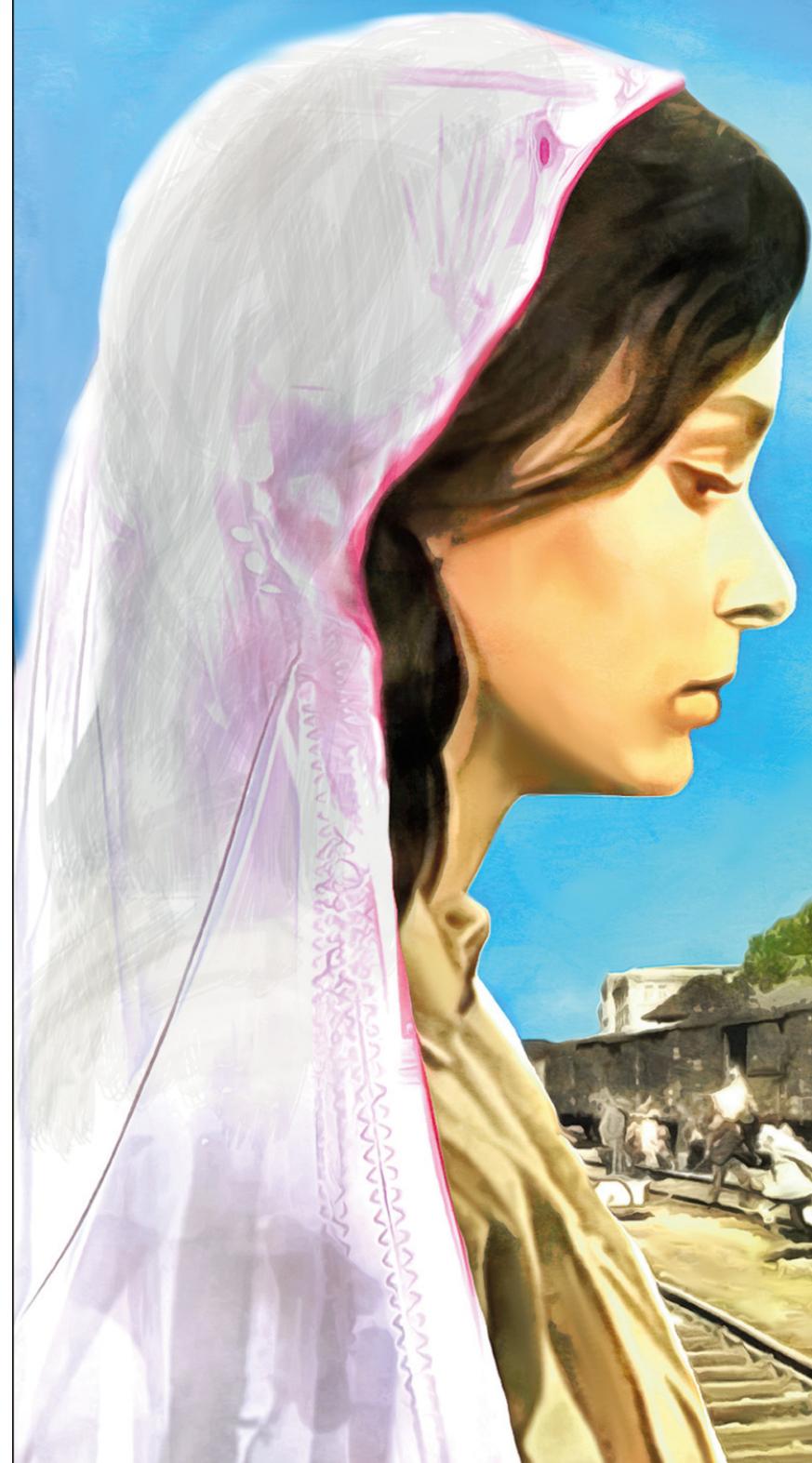


НЕВЕСТА ДЯДИ КОСТИ

Leon Rain



Библиотека классической и современной прозы

Leon Rain

Невеста дяди Кости

«Продюсерский центр ротации и продвижения»

2022

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2=411.2)6-44

Rain L.

Невеста дяди Кости / L. Rain — «Продюсерский центр ротации и продвижения», 2022 — (Библиотека классической и современной прозы)

ISBN 978-5-907580-16-9

На небольшой узловой станции в начале войны пересекаются и расходятся жизни трёх взрослых людей. Каждый из них пройдёт через эту страшную войну своим путём, но будет и то, что объединит их на долгие годы. Впереди невосполнимые потери и новые встречи, которые вернут их к жизни. Но весьма необычные обстоятельства вновь столкнут их вместе. А когда жизнь будет клониться к закату, Всевышний даст знак, что он исполнил одну очень важную просьбу. Почему же он дал этот знак только в конце? Но ведь он выполнил именно то, о чём его просили. Разве у него есть время отчитываться о выполненных просьбах, ведь их так много поступает со всех концов света. Эта история должна быть рассказана. Да будет так. Leon Rain

УДК 821.161.1-32

ББК 84(2=411.2)6-44

ISBN 978-5-907580-16-9

© Rain L., 2022
© Продюсерский центр ротации и
продвижения, 2022

Содержание

Предисловие	6
Глава 1. Станция. Бомбёжка. Константин	8
Глава 2. Станция. Бомбёжка. Самуил	10
Глава 3. Станция. Бомбёжка. Рая	14
Глава 4. Путешествие к концу жизни	18
Глава 5. В плену	23
Глава 6. Карта	31
Глава 7. Штрафбат. Раненые. Самуил	36
Глава 8. Под звуки оркестра	38
Глава 9. Лагерь (продолжение). Доктор Нахтвейн	43
Конец ознакомительного фрагмента.	47

Leon Rain

Невеста дяди Кости

© Leon Rain, 2022

© Общенациональная ассоциация молодых музыкантов, поэтов и прозаиков, 2022

Предисловие



Мы уезжали из СССР в ноябре 1990-го. С огромным трудом отправили багаж, отгуляли прощальный вечер, поставили навеки ушедшим от нас старикам новые мраморные памятники. Думали, что уезжаем навсегда. Никто не знал, что через два года огромная империя развалится, а ещё через несколько лет можно будет свободно ездить из России в Израиль и обратно. Мы не афишировали свой отъезд. У нас остался последний вечер в нашей квартире. И я не выдержал: я должен был с ним попрощаться. Уехать вот так вот, не сказав ни слова, было бы непростительным свинством. Это был единственный человек в нашем дворе, к которому я зашёл.

Дядя Костя, дядя Костя... Сколько ж тебе было тогда? Наверное, около восьмидесяти. Безногий инвалид войны, не потерявший присутствия духа. Он ездил на инвалидном «запо-

рожце», и единственный гараж, стоявший в нашем дворе, принадлежал ему. Тот находился как раз между нашими подъездами, и к нему вела бетонированная дорожка, на которой дядя Костя разрешал мне парковаться.

Я никогда не слышал, чтобы он жаловался на жизнь. Он ещё ездил на охоту в сопровождении своей охотничьей собаки. А нам он ремонтировал обувь, честно зарабатывая минимальную добавку к пенсии. Мы иногда беседовали, но о чём я сегодня очень жалею – что не спросил его о боевых буднях, о том, в каких сражениях он потерял свои ноги, защищая нас от фашизма. Этого я уже никогда не узнаю. И жену его помню, тётю Раю, она тоже была немолода и выглядела не совсем здоровой. Это сегодня в Израиле к таким пожилым и беспомощным приходит на дом прикрепленный работник, который помогает ухаживать. Или их определяют в интернат, где позволяют пусть не идеально, но достойно дожить отпущенное. А тогда... Мне даже представить страшно, как тётё Рае приходилось купать своего мужа. Дядя Костя, словно высеченный из глыбы, и без ног весил, наверное, килограмм восемьдесят, а она была такая хрупкая.

Я позвонил в дверь, и мне открыла тётя Рая. Я был своим человеком, и меня сразу пригласили на кухню, где дядя Костя пил чай.

– А, Лёня пришёл. Садись со мной. Чаю выпьешь?

– Нет, дядя Костя, спасибо.

– Ну что у тебя, починку принёс?

– Да нет, дядя Костя, я попрощаться пришёл.

– Что значит попрощаться?

– Уезжаем мы.

– Переезжаете?

– Нет, дядя Костя, насовсем уезжаем.

– Куда?

– В Израиль.

– Да как-к-к-к же это?

Сморщенное, как сушёный гриб, круглое дяди Костино лицо задрожало, а из глаз выкатились слёзы.

– Как же так можно?

А губы непрерывно затряслись.

Тогда в нашем городе отъезд на историческую родину не был привычным делом, мы уезжали в первой десятке семей. Я не знаю, что чувствовал дядя Костя, простой русский мужик, не мыслящий свою жизнь без России. Возможно, я был тогда для него предателем Родины. Прости, дядя Костя, ни тебя, ни Россию мы не предавали, уехали честно, никого не кинув. Просто пришло время перемен, две тысячи лет наши предки мечтали встретить следующий год в Иерусалиме. И мне выпала огромная честь вывезти свою семью на историческую родину. Наверное, мы чувствовали себя так же, как русские, возвращавшиеся в Россию после долгих лет скитаний по чужбине. Мы рвали корни, оставляли квартиры и могилы стариков. Мы прощались с этими могилами на кладбище, понимая, что можем никогда не вернуться. Но мы это сделали, осуществили свою мечту, и за это никто не может нас упрекнуть.

Спасибо тебе, дядя Костя. Ты был нам хорошим соседом, я никогда тебя не забуду, и тётю Раю тоже. И свою четвёртую книгу я посвящаю вам. Я так и назову своих героев – Константин и Рая. Конечно, это будет не ваша история, я собирал её по крупицам. Но это – часть истории огромной страны, которую вы тоже писали своей кровью. И вы заслужили эту память. А я буду перечитывать эту книгу и вспоминать о вас.

Светлая вам память.

Leon Rain

Глава 1. Станция. Бомбёжка. Константин

Они ехали до этой маленькой узловой станции несколько часов, встречая на своём пути колонны с беженцами и потоки легковых и гражданских машин. Встречались и повозки, запряжённые лошадьми. Но таких было мало, и загружены они были до отказа. Было непривычно видеть такую массу людей, покидающих свои дома. Хотелось крикнуть: «Что вы делаете? Возвращайтесь домой! Мы вас защитим!» Но никто не кричал, провожая взглядом и теряя из виду шагающих людей. Проезжающие в обе стороны автомобили поднимали тучи серой пыли, щедро осыпая ею идущих. Но никто не жаловался и не сыпал проклятиями. Люди шли молча, сберегая силы и стараясь уйти подальше от того места, где совсем скоро могло стать смертельно опасно. И этот страх гнал их в путь, заставляя спасать себя и остатки семьи, стариков и малых детей.

Пожилая женщина внезапно села на дорогу и не смогла подняться. Её тут же оттащили на обочину, чтобы не мешала движению. Родные суетились вокруг неё, стараясь поднять её или хотя бы остановить машину. Но всё было тщетно: старые ноги исчерпали запас прочности, а машины шли под завязку забитые чьим-то добром. Глядя на позолоченные рамы картин, на свёрнутые ковры, на добротные кованые сундуки, все понимали, что нет ни единого шанса простому смертному занять их место в кузове автомобиля. Вооружённая охрана, а иногда и сам владелец в сопровождении шофёра и своей семьи выказывали столько решимости защищать свои вазы и подсвечники, с таким трудом добытые в домах репрессированных коллег, что было видно: эти стоять за барахло будут насмерть.

Грузовик притормозил вместе с остальной колонной, пропуская штабную машину, и Костя успел увидеть, как женщина, которая не могла подняться, махала руками на своих родных и что-то им кричала. Разобрать слова было невозможно из-за большого шума, но и так всё было понятно. Она гнала своих родных, умоляя их не останавливаться ради неё. Она была матерью и бабушкой, прекрасно осознававшей, что в первую очередь нужно спасти детей и внуков. Нести её никто не мог, и теперь она прощалась со своими родными. Через две минуты мимо грузовика, давясь слезами, прошли две женщины, держащие за руки детей. Они всё время оборачивались назад, чтобы ещё раз увидеть ту, которая была им дороже всего на свете. Она рожала их в муках и растила, отказывая себе во всём, а теперь отдавала свою жизнь, чтобы не стать обузой. Костя окинул взглядом сидевших рядом с ним. Нет, не он один вытирал украдкой слёзы, наблюдая картину прощания. Колонна тронулась, и женщина, сидящая на обочине, исчезла из вида.

Где-то впереди, там, куда направлялась их автоколонна, слышались звуки бомбовых разрывов, но это было ещё относительно далеко, и звуки были смазанными хлопками, не вызывавшими чувства животного страха, но всё равно заставлявшими нервничать. Их высадили около узловой станции и велели сразу занимать позиции для обороны. Несмотря на царивший на станции хаос, её вид не вызывал особых опасений. На путях стояли два состава, гражданский и военный, не было разбомблённых построек и путей. Было только непонятно, почему не отправляют поезда. Но солдат не задаёт лишние вопросы, а выполняет приказы.

У кубовой толпилась очередь людей с чайниками и кастрюлями. Пассажиры поездов старались разжиться кипятком. К ним подошли вооружённые патрульные в форме НКВД и стали проверять документы. Прошедшие проверку возвращались в очередь, а тех, у кого не оказалось с собой заветной бумажки, оттесняли от общей очереди. Они выстраивались в стороне, охраняемые серьёзно настроенными патрульными. Несколько человек отчаянно жестикулировали, показывая на поезд, но патрульные были неумолимы. Кто-то не угодил патрульным и получил сильный удар прикладом под дых. Упавший с трудом поднялся и, скорчившись, встал рядом с остальными задержанными. Было не совсем понятно, по какой причине их задержа-

вают, но идёт война, и командуют вооружённые люди в форменной одежде. Гражданские слова не имеют. Если кого-то задержали, значит, так надо. Ни у кого даже не возникло мысли спросить, в чём дело.

По окончании проверки патрульные повели куда-то в сторону нескольких мужчин. Внезапно послышался нарастающий вой, и все бросились врассыпную. Станцию начали бомбить. Стало по-настоящему страшно, укрыться было негде: три деревца рядом со станцией не могли скрыть всех желающих, а немногочисленные строения рушились одно за другим, осыпая лежащих красноармейцев кучами строительного мусора, в который превращались после попадания.

Костя приподнял голову только на мгновение, но этого было достаточно, чтобы увидеть, как бомба, попавшая в эшелон, разметала в клочья два вагона, выжить в которых никто бы не смог. Из группы арестованных вырвались несколько человек и побежали к разбомблённым вагонам. Они пытались вручную разгрести то, что осталось от вагонов, но всё было тщетно. Налёт прекратился, и рыдающих мужчин вновь увёл патруль. Двоих, отказавшихся подчиняться приказу вернуться, расстреляли на месте. Остальные вынуждены были встать в строй рядом с другими арестованными. Убитые горем, они еле передвигали ноги.

Немцев в тот раз Костя так и не увидел. Сказать, что он побывал в первом бою, тоже было нельзя. То, что произошло на станции, не было боем, скорее это было побоищем. И хотя некоторые красноармейцы даже пытались стрелять по вражеским самолётам, никто не смог причинить им хоть какой-то вред. Безнаказанно отбомбившись, они улетели, оставив за собой разрушенную станцию, два разбомблённых состава и десятки неподвижных тел.

Дали команду собирать раненых. Их грузили на несколько чудом оставшихся целыми грузовиков и спешно увозили той же дорогой, что и привезли. И теперь они ехали в обратную сторону по пыльной дороге, разгоняя клаксонами толпу. Складывалось впечатление, что их везли на эту станцию только для того, чтобы, сделав из здоровых молодых мужиков инвалидов, увезти назад в тыл. Остальные выстроились в походную колонну и тоже двинулись в обратный путь: защищать на этой станции было больше нечего. Убитые так и остались лежать там, где их настигла смерть.

Покидая станцию, Костя увидел, как патрульные расстреливают нескольких мужчин из группы задержанных в очереди за кипятком. После десятков смертей, смерть ещё нескольких человек уже никак не могла повлиять на настроение покидающих станцию солдат. Обернувшись напоследок, словно желая запечатлеть весь этот ужас в своей памяти, Костя увидел беременную молодую женщину с маленьким ребёнком. Она беспомощно металась по станции, словно кого-то разыскивала, но никто не торопился ей помочь. Она бросилась к расстрелянным мужчинам, переворачивая их поочерёдно, но, не обнаружив того, кого искала, побежала за полуразрушенное здание вокзала, таща за собой маленькую девочку. Больше её Костя не видел. Мрачные красноармейцы двигались в сторону тыла, выполняя приказ через несколько километров объединиться с ещё одной такой же разбитой группой и занять рубеж обороны. Заниматься гражданскими им было некогда.

Глава 2. Станция. Бомбёжка. Самуил

Как жалко было оставлять родной город и свою квартиру! А заплаканные старики, прощавшиеся навсегда... Их лица стояли перед глазами. Ну чего уж они так мрачно настроены, может, всё и обойдётся? Им всем уже за пятьдесят, возраста отца непризывного, а матери и подавно. Какую опасность такие старики могут представлять для немцев, если тем удастся только прорвать оборону и взять Одессу? Сами уезжали по необходимости. Он ведь хороший сборщик, а они везут в тыл станки, нужно будет налаживать производство и снабжать фронт. А кто лучше Самуила может собрать и максимально быстро запустить станки? Если честно, не он один хорошо в них разбирался, были и другие ребята, со стажем побольше. Но грамоту за отличный труд недавно получил именно он, а значит, на данный момент он честно может себя считать лучшим сборщиком.

Райка сидит заплаканная. Нельзя ей сейчас расстраиваться, потому как беременная. Но что здесь поделать, женщины так привязаны к своим матерям, они обе и на вокзале такой концерт устроили, перед коллегами стыдно было. Если честно, то он сам еле сдержался, чтобы не заплакать. Но он же мужик, муж и отец, какой пример он подаст своей семье? А маленькая Берта в точности мать копирует: ревела так, что гудок паровозный слышно не было. Еле оторвали от бабок и дедок и втащили в вагон. Нет, о плохом думать совсем не хочется, всё обойдётся. Будет, конечно же, трудно на новом месте без помощи родителей. Но они обязательно справятся, он сразу же приступит к работе, а Рая будет присматривать за Бертой и донашивать второго ребёнка. Хорошо бы, чтоб пацан родился. Девочка уже есть, нужно и о наследнике позаботиться, чтобы было кому фамилию передать.

Правда, с фамилией форменная неувязка вышла: месяц назад их квартиру обокрали, забрав все деньги, украшения жены и паспорта. Конечно же, они обратились с заявлением в милицию, а со справкой пошли в паспортный стол. Принесли фотографии, всё как положено, но паспортистка – форменная дура, где таких берут, это ж надо так исковеркать фамилию! В обоих паспортах вместо их настоящей фамилии Коган было написано Когон. Вы только представьте! Ведь Коган – это благороднейшая еврейская фамилия. Только люди, имеющие такую фамилию, в древние времена, когда ещё был главный еврейский храм в Иерусалиме, могли заходить в этом храме в какие-то особые комнаты и там чуть ли не с самим богом напрямую общаться. Ерунда это, конечно, всё, был бы бог – дал бы он свой храм разрушить. А у советского народа один бог – товарищ Сталин, и он не подведёт! Скоро фрицам так даст, что только опшмётки в разные стороны! Так вот, про фамилию, да бог с ними, с первосвященниками, но звучит как? Одно дело – гордое Коган, а другое – Когон. А заметили только дома, хотели сразу же бежать менять, да закрутились с делами, потом паспортистки не было, а потом война, пришлось уезжать. А теперь все дорожные документы оформлены на фамилию, записанную в паспорте. Сколько времени придётся с ней оставаться, никто не знал. А родится ребёнок, как его придётся записать? Ведь там, на новом месте, всем будет абсолютно всё равно, какая фамилия была у них до этой чёртовой паспортистки. Своя, по крайней мере, подтвердила бы оплошность и всё поменяла.

А может, и к лучшему, что они с Райкой отдельно от стариков поживут. Тёща, конечно, много помогает, но голова от неё пухнет и угодить ей нет никакой возможности. Хорошо, что он проводил по десять – двенадцать часов на заводе, а то пришлось бы её выслушивать. Они докажут всем остальным и себе в первую очередь, что управятся без посторонней помощи. Конечно, вторая беременность немного не вовремя, но что поделать, так получилось, он же не специально, просто очень любит свою Райку и ждёт не дожждётся, когда она его к себе подпустит. Вроде бы из них двоих он на заводе пашет как ишак, а в доме всегда уставшая она, и ничего не допросишься. Иногда прямо злость берёт: он что, будучи женатым, должен к другой шастать,

чтобы получить своё законное? Уверен, что это тёща Райку настраивала против. Слава богу, какое-то время не придётся её видеть.

Непонятно как-то поезд идёт, да и идёт ли вообще – стоит больше. Можно было бы предположить, что уступает дорогу встречным воинским эшелонам, но их всего несколько прошло навстречу. Есть какая-то нервозность в воздухе, но все стараются о плохом не думать. Мужики стол накрывают, чтоб отдельно от женщин спокойно посидеть, о жизни и войне порассуждать. А бабы пусть там по-своему, с детьми, от которых уже голова пухнет. Они уже почти сутки в пути, а от Одессы, судя по встречающимся указателям, почти и не отъехали. Опять встали, за окном станция какая-то.

– Уважаемый, а долго ли стоять будем?

– А что за станция? Какая?

– А кипяток здесь есть?

Точно! Как он мог забыть, а ещё отец семейства! Быстро чайник в зубы и бегом за кипятком! Да что ж вы все, как безумные, к выходу рвётесь? Пройти ж дайте! Неужели вам кипятку не хватит? Просто ненормальные!

– Рай, где чайник? Я за кипятком! Берточка, сейчас папа кипяточек принесёт, и будем чай пить. Ну чего ты куksiшь, плохо себя чувствуешь? Рай, присмотри за ребёнком, я быстро!

Выскочил с мужиками на перрон и помчался вслед за ними к кубовой, благо, что кто-то уже успел спросить, где она находится. Ага, за углом. Ну и очередь! Ну конечно, здесь уже весь состав собрался! Только не отправили бы его без них, здание аккурат пути заслоняет, приходится по очереди бегать до угла, чтобы посмотреть. Ну скоро там? Чего ж все копошатся, обязательно прям до верху налить, остальным же тоже нужно успеть!

– Внимание, граждане! Проверка документов! Всем стоять на месте, любая попытка покинуть место, где стоите, будет расцениваться как попытка к бегству! Будем открывать огонь на поражение!

Вот уж не вовремя их чёрт принёс! Документы в вагоне, ну не пойдёт же он с ними за кипятком. Поезд в тридцати метрах, максимум вместе с патрулём дойдём и покажем документы, он же здесь не один такой. Раз остальные мужики нервно заозирались, значит, и они без документов. Не будут же весь состав задерживать из-за такой ерунды, ведь они везут эвакуированный завод, кто же без них при выгрузке сможет разобраться, а потом ещё и смонтировать станки? Не эти же солдатики с красными околышами этим будут заниматься.

– Предъявите документы! Вы двое, пройдите сюда! Стоять молча, опустите чайники. Я сказал стоять молча!

Ничего себе, а ведь ребята не шутят! То, что ещё минуту назад казалось небольшим недоумением, готовым разрешиться в течение нескольких минут с последующими извинениями со стороны проверяющих, оказалось чем-то несоизмеримо большим и опасным. С ними даже не хотят разговаривать. Кто у них старший? Должен же быть кто-то вменяемый? А если сейчас поезд тронет, что тогда? Как они будут догонять? Нет, надо что-то делать!

– Товарищ! Товарищ!

– Я сказал молчать! Кто ещё не понял?

– Товарищ, вы не понимаете...

Куда это всё полетело? Господи, как больно... И дышать почти невозможно. Он лежит? Как же всё это произошло, он же хотел только объяснить, что документы в поезде, и можно послать кого-то одного, и он бы собрал и принёс документы для всех. Тьфу! Что это? А, это он уткнулся мордой в землю и забыл закрыть рот. Так, приподнять голову... всё плывёт... Что это за два чёрных расплывающихся предмета прямо перед ним? Са-по-ги... точно, это же сапоги того, кто ударил его с размаха прикладом хорошо заученным движением.

– Встать!

Никогда не думал, что вот так вот будет постигать закон притяжения Земли. Нужно постараться, судя по всему, шутить с ними здесь точно не собираются. Так, сначала на колени, а теперь подняться с четверенек. Ещё пару недель назад он сам смеялся над пьяным возле пивной, пытавшимся неуклюже подняться с четверенек. Зато теперь он сам уже точно знает, как это непросто.

– Быстро встать или я стреляю на поражение!

– Я... я стараюсь...

– Молчать!

Хорошо, что ребята подхватили, а то бы упал, а там знай, что у этих озверевших чекистов на уме: могут и пристрелить, судя по началу общения.

Закончив проверять оставшихся, старший патруля скомандовал:

– Всем задержанным на-а-а-ле-е-ево! Шаг вправо, шаг влево – попытка к бегству. По закону военного времени расстрел на месте. В пути следования не разговаривать, по сторонам не смотреть! Ма-а-рш!

Нестройная колонна тронулась с места и запылила, оставляя свои кастрюли и чайники новым хозяевам, которые немедля приступили к дележу свалившихся на них ёмкостей. С каждым пройденным шагом всё больше пугающих мыслей лезло в голову. Внезапно послышался протяжный вой и треск пулемётных очередей, потом вниз полетели чёрные точки, которые стали рваться на территории станции с оглушающим звуком. Потомки Железного Феликса втянули головы в плечи, но строй их не дрогнул, и ни один арестованный из этого строя не вышел. Внезапно на воздух взлетело несколько вагонов гражданского эшелона, попасть в который для того, чтобы предъявить документы, рвалась большая часть задержанных.

Вооружённая охрана больше никого не пугала. Там, в этих взмывших к небу, разорванных в клочья вагонах были их жёны и дети. Презрев опасность собственным жизням как со стороны самолётов, продолжающих скидывать свой смертельный груз, так и со стороны стражников, немедленно нацеливших им в спины дула своих карабинов, арестованные бросились к горящим останкам вагонов. Пытаясь спасти хоть кого-нибудь, люди принялись раскидывать обломки голыми руками, а на их головы, кружась, падали всё новые и новые горящие и просто обугленные куски прошлой жизни, в которой они были вместе со своими семьями.

Патрульные начали отгонять людей прикладами, но никто не отходил. Тогда открыли огонь на поражение, и два человека замертво упали там, где ещё несколько секунд назад они пытались своими обгорелыми от кучи полыхающих обломков руками откопать хоть кого-нибудь. Всё было кончено, выжить никто из обитателей этих вагонов не мог. В этом не было никаких сомнений. На месте состава догорали обломки, раскиданные между несколькими воронками, в которых тоже были видны всполохи пламени.

Плачущие люди возвращались в строй. Им даже не дали проститься с прахом погибших. Только карабины патрульных грубо и жёстко втыкались им в спины, заставляя выдерживать темп. Это было страшное чувство опустошения. Внутри всё выгорело дотла, собственная судьба больше никого не волновала. Люди не понимали, для чего жить. Они больше не были кому-то нужны, только взвод красноармейцев, собирающих своих раненых, бросал на них взгляды. Но и им не было до арестованных никакого дела.

Через триста метров нестройная колонна остановилась. Прямо посередине поля стоял стол, за которым восседал майор в форме НКВД. Рядом с ним примостился молоденький лейтенант, заполнявший выделенные на каждого задержанного листки. К столу по одному подводили задержанных, майор поднимал на них свой пытливый, изучающий взгляд, задавал несколько вопросов. Потом делал взмах рукой, и задержанного отводили либо вправо от стола, либо влево.

Самуила подвели к майору. Задав дежурные вопросы, уточняющие фамилию, имя, отчество, майор впился в его переносицу цепким взглядом.

- Почему без документов в прифронтовой полосе?
- Документы были в поезде.
- В том, который разбомбили?
- Да.
- Ну теперь вы всё будете на поезд валить?
- Там погибли наши жёны и дети. Мы пытались откопать их, но никто не выжил.
- Стало быть, и документы не уцелели?
- Стало быть.
- Вам известно, что по закону военного времени любой, оказавшийся в прифронтовой полосе без документов, может быть расстрелян без суда и следствия?
- Стреляйте. Мне всё равно.
- Так-таки уж и всё равно?
- Моя семья погибла. Мне больше нечего вам сказать.
- А отомстить за свою семью не хочешь?
- Я не знаю.
- Смотри, Когон, я тебе даю единственный шанс. Я тебя могу расстрелять вон у той берёзы либо отправить в штрафбат. Выживешь ты там или нет, один господь бог знает, но хоть пару немцев с собой в могилу утащить попробуешь. Так как?
- Мне всё равно. Давайте штрафбат.
- Повезло тебе, Когон, я дважды не предлагаю. Этого влево, и следующего.

Через полчаса, когда майор и лейтенант закончили опрашивать задержанных, людей, стоявших справа от стола, отвели на десяток метров. По пять человек их выстраивали перед расстрельным взводом. Лейтенант что-то говорил про измену Родине и про законы военного времени, но с того места, где стоял Самуил, было плохо слышно. Зато прозвучавший залп закладывал уши. Люди падали навзничь, и прямо перед их телами ставили новую пятёрку. Никто не вырывался и не пытался убежать. Через десять минут остались только те, кого майор велел отвести влево от стола, да взвод энкавэдэшников. Арестованных выстроили и повели в неизвестность.

Глава 3. Станция. Бомбёжка. Рая

«Бедные мои, мама и папа, как вы там будете без меня и как я буду без вас?»

Берточка будет расти без дедушки и бабушки, а сама Рая вновь почувствует себя маленькой девочкой, оставшейся без родителей. Конечно, она уже почти четыре года была замужем за любимым человеком и ей нравилось чувствовать себя хозяйкой в небольшой съёмной комнате. Но рядом, всего в паре кварталов, были мама и папа, готовые в любое время прийти на помощь. Под их опекой удобно было чувствовать себя молодой хозяйкой. Да и Берточка, которую обожали все бабушки и дедушки, всегда была присмотрена. Подходило время вторых родов, оставалось несколько последних недель, возиться по дому становилось всё труднее. А тут ещё внезапно налетела проклятая война.

Подлые, какие они подлые, эти немцы! А ведь притворялись друзьями, – она прекрасно помнит передовицы газет. Сначала были нормальными людьми, даже вместе с Красной армией освобождали Польшу от проклятых панов, пьющих кровь трудового народа. И на параде совместно представлялись друзьями. А потом? Потом вошли во вкус и решили захватить кусок нашей Родины. Как же так можно? Вот теперь из-за них её семья должна разлучиться с близкими и отправиться в неизвестность.

Хорошо ещё, что Самуила так ценят на заводе: сразу дали ему бронь и отправили с эшелоном в эвакуацию, разрешив взять с собой семью. Впрочем, не только ему одному, но так даже веселей. Они дружили с несколькими семьями до войны и теперь оказались в одном вагоне. За себя и свою семью Рая не беспокоилась, через несколько часов слово война они будут слышать только в сводках Совинформбюро. Конечно же, очень жалко своих родителей и сестёр, но она должна думать о Берточке и новой жизни, толкавшей её в животе своей ножкой.

Самуил так хочет мальчика, она тоже не возражает: девочка уже есть, пусть будет и мальчик. Какая разница, кого любить? Конечно, если будет девочка, то можно будет откладывать Берточкины вещи, а если мальчик, то всё придётся покупать заново. Рая вздохнула. Лишь бы все проблемы на этом закончились!

Поезд дёрнулся и остановился, за окном были строения. Самуил быстро протиснулся к выходу из вагона, а потом, весь возбуждённый, вернулся, схватил чайник, подмигнул Рае и на бегу крикнул:

– Смотри за Бертой! Я за кипятком! Скоро буду! Без меня не уезжайте!

Ну да, раздал поручения! Можно подумать, что если бы не сказал смотреть за ребёнком, то она бы на Берту и не глянула. Шутник, вон как побежал! Если б додумался сразу чайник схватить, то был бы среди первых, а так только догоняет остальных. Скрылся за углом. Нужно бы приготовить стаканы, скоро Самуил притащит кипяток, заварят чай. Хоть что-то жидкое, а то в дороге не до супов.

– Что тебе, Берточка? Подожди, моя хорошая, мама занята.

– Бети а-а-а.

– Берточка, ты уверена?

Маленькая Берточка уверенно кивала головой.

Ох уж эти дети. И что теперь с ней делать? На станции все туалеты в поезде закрыты, придётся выходить на перрон и искать туалет там. Рая вздохнула, подхватила Берточку, крикнула, чтобы присмотрели за их вещами, и спустилась на перрон. Так, теперь бегом до туалета, нужно торопиться, чтобы не опоздать, да и Самуил не знает, где они, будет волноваться. И Рая помчалась вдоль перрона, на ходу высматривая нужное строение. А когда Берточка уже всё закончила, и они вышли из дурно пахнущего домика на свежий воздух, Рая услышала пронзительный свист и оглушительный грохот.

Какая-то неведомая сила подкинула их в воздух и отбросила подальше от перрона. Наверное, поэтому они и остались живы. Рая накрыла собой Берточку и замерла. Бомбы рвались вокруг, земля вперемешку с обломками падала на них, заставляя вжиматься всё глубже и глубже. А когда налёт закончился, они ещё несколько минут боялись приподнять головы.

Наконец Рая решила и начала подниматься. Напуганная Берточка выползала из-под мамы, крепко держа её за руку. На месте станции стояли обломки строений, из которых вырывалось пламя. Отовсюду валил густой удушливый дым, но Рая не обращала на него внимания. Крепко сжав руку Берточки, она бросилась туда, где в последний раз видела Самуила, сворачивающего за угол. На бегу она смотрела на то место, где ещё недавно стоял их вагон. Поезда больше не было, как и надежды уехать от войны в спокойную мирную жизнь. На месте кубовой зияла огромная воронка, вокруг неё вперемешку валялись люди, чайники и обломки строения. Несколько головешек догорали посреди этого жуткого зрелища, опаливая человеческую плоть, отчего дым становился ещё более удушливым.

Рая шагнула в этот кошмар и медленно пошла, пытаясь обнаружить Самуила по знакомой одежде. Она прошла вдоль всей воронки, его нигде не было. Слава богу... И тут же внезапная мысль пронзила её: пока она ищет его здесь, он наверняка ищет её там, на месте, где стоял поезд. Но у неё уже не было сил бежать, Рае показалось, что она вот-вот может родить. Но как рожать здесь, посреди головешек, не найдя Самуила? И Рая взяла себя в руки. Она перешла на спокойный шаг, потом остановилась, пытаясь отдышаться и унять сердцебиение. Берточка плакала и просилась на ручки, но Рая была не в состоянии поднять её и лишь умоляла подождать. Вот сейчас появится папа, и он возьмёт её на ручки, а у мамы болит животик, там сидит Берточкин братик, Берточка уже большая и должна помогать маме.

В грузовики грузили раненых, и Рая отправилась туда. Она отпускала руку Берточки, чтобы, уцепившись за борт, подняться на колесо и заглянуть в кузов. Во всех трёх уцелевших после налёта грузовиках были только раненые солдаты. Рая вернулась к кубовой и прошла мимо неё к перрону.

Она пошла вперёд, таща упирающуюся Берточку за руку. Рая увидела, как со станции уходили последние люди. Отдельно шли солдаты и ещё группа гражданских людей под конвоем. Она ещё удивилась, подумав, что никаких арестантских вагонов не было. Она знала точно: что бы ни случилось, её Самуил без неё и Берты никуда не уйдёт. Только бы он был жив, больше ничего не надо! Пусть будет живой, и всё!

На месте разбомблённого вагона, в котором они ехали, Рая заметила два мужских неподвижных силуэта. Собрав последние силы, она бросилась к ним и перевернула одного за другим к себе лицом. Конечно же, она знала этих людей: они вместе ехали в эвакуацию и дружили семьями. Но они были мертвы, и помочь им она уже не могла, а ей нужно было найти Самуила.

Она подхватила плачущую Берточку и побежала вдоль станции в поисках своего мужа. Она забежала за остатки станционного строения, и уходящие со станции пропали из вида. Когда, обойдя здание по периметру, Рая вернулась на перрон, она с горечью увидела, что на станции остались только трупы и горящие головешки. И тогда она обессиленно села на землю и зарыдала, поняв, что Самуила нет в живых. Берточка тоже старалась не отставать и захлёбывалась в плаче до икоты. В этот момент раздался залп, потом ещё один и ещё. Кто и куда стрелял, она не видела. Рая вздрогнула, но ни выстрелов, ни самолётов в небе больше не было.

Вдоволь наревевшись, они сидели в обнимку, не понимая, что им делать дальше. И в это время на территории станции появились люди. Это были не военные, но они вели себя очень странно. На Раю и Берточку никто не обратил внимания, они шли вдоль разбомблённой станции, останавливаясь иногда и поднимая какие-то вещи. Наполнив руки, они исчезали, и на их месте объявлялись новые «искатели кладов». Рая подумала, что неплохо бы отыскать немного своих вещей, но сил подняться не было, и она молча смотрела, как остатки багажа улетучивались со станции, уносимые невесть откуда взявшимися людьми. Они исчезли так же

внезапно, как и появились, а потом вместо них на территорию станции пришли другие люди, говорящие на языке, немного напоминавшем идиш, на котором говорили её родители. Эти люди были одеты в серую форму, их лица тоже были серыми от дорожной пыли. Они шли абсолютно спокойно, будучи точно уверенными, что никто не окажет им хотя бы малейшего сопротивления. На Раю и Берточку они не обращали никакого внимания. А те сидели молча, сжавшись в комочки, со страхом взирая на чужих людей, только что лишивших их отца и мужа и принесших смерть на эту маленькую станцию.

Вскоре на станции закипела жизнь, на ней опять появились гражданские люди, но на этот раз они не собирали вещи, а занимались уборкой территории под присмотром солдат в серой форме. Через некоторое время Рае и Берте пришлось подняться и пройти дальше, а уборочные работы продолжились на том месте, где они только что сидели. Подошедший солдат указал им, куда идти. Оказалось, что уцелело ещё несколько женщин с детьми. Спасшиеся бросались друг к другу, задавая одни и те же вопросы, касавшиеся их мужей. Но никто ничего не знал.

И вдруг Рая увидела Люську, она тоже спрашивала всех насчёт своего Валерика. Они обнялись, но Рая не решилась отнять у несчастной Люськи надежду. Да и как она могла сказать своей подруге, что один из двух покойников, которых она переворачивала на месте разбомблённого поезда, был её Валериком? Пусть Люська сама это узнает, и не от неё. А вдруг точно так же, как она Люське, кто-то не хочет ей рассказать, что видел её Самуила среди убитых? Нет, она тоже ни о чём таком не желает слышать. Шансов увидеть его среди живых не было – Рая прекрасно это понимала. В грузовиках были раненые солдаты, со станции уйти без них он не мог, значит, его обугленное до неузнаваемости тело где-то лежит. И скорее всего, она могла уже несколько раз пройти мимо и не опознать его. Только что начавшаяся война уже забрала часть её семьи. Что происходит с её родными, оставшимися в Одессе, она могла только предполагать.

Из оцепенения её вывела Берточка. Она теребила её за руку и требовала ням-ням. Ну конечно же, ребёнка давно нужно было покормить, но Рая вдруг поняла, что ей нечем кормить дочь, к тому же, только сейчас вспомнив про еду, она почувствовала, что тоже страшно голодна. Она хотела было подойти к людям, занятым уборкой, чтобы попросить у них хоть что-нибудь для ребёнка, но дорогу ей преградил человек в серой форме. Он что-то сказал и указал ей на то место, где сидели на земле остальные выжившие. Рая попыталась объяснить ему, что ребёнок хочет есть, повторяя на идише слово *эси* («есть»). Судя по всему, солдат понял её, но резко обрубил, вскрикнув «Найн!» и поставив этим точку в их диалоге. Ещё несколько детей плакали, требуя еды, несчастные матери не знали, что предпринять. Их охраняли два солдата чужой армии, не отпуская даже в туалет. Собственно, туалета и не было, на его месте была куча разбомблённых досок и кирпичей, так что те, кому становилось невтерпёж, отворачивались спиной к солдатам и, преодолевая стыд, справляли нужду.

Вскоре появились несколько мужчин в чёрной форме с повязками на рукавах. Они говорили по-русски и по-украински. Не спеша подойдя к женщинам с детьми, один из них велел им подняться и построиться.

– Жидовки есть? Ещё раз повторяю вопрос: жидовки среди вас есть?

Рая замерла, не зная, что предпринять. Никогда раньше она не задумывалась, насколько её внешность соответствовала еврейской. Каштановые волосы и светло-карие глаза имели в Одессе представители греческой, молдавской и многих других национальностей. И самое главное, она не знала, плохо это или хорошо, что она еврейка, но в сердце беспокойно закололо. Если где-то ищут евреев, то ничего хорошего в этом нет. Она помнила рассказы старших про дореволюционные погромы. И Рая решила молчать, может быть, ей удастся скрыть своё еврейство, а поскольку все документы уничтожены во время бомбёжки, она может придумать себе любое имя. Она просто возьмёт имя какой-нибудь одноклассницы, чтобы не путаться. Да, так она и сделает, ведь сейчас она должна спасти не только себя, но и Берточку. Про ребёнка,

которого донашивала, Рая в этот момент даже не подумала. Вот родится, тогда она и будет о нём думать, а сейчас нужно выжить им с Берточкой. Боже, как страшно, вот они уже идут сюда, нужно опустить голову и не смотреть им в глаза. Всё, уже прошли мимо, слава богу.

– А ты чего, жидовская рожа, не выходишь?

Рая почувствовала сильный толчок в спину. Её выпихнули из общего строя. Краем глаза она успела заметить Люську, с которой они обнимались всего час назад, в слезах распрашивая друг дружку про своих мужей. Но сейчас Люська не плакала, в её голосе звучал прежде незнакомый металл.

– Вы посмотрите на неё! Ты думала, жидовка пархатая, что среди нас отсидишься? Вот! Она жидовка, заберите её!

Мужчины в форме вернулись и подошли к Рае.

– Мы ж сказали: жидовкам выйти из строя. Зачем же ты врешь?

И Рая получила сильный удар кулаком в лицо. Её никогда не били, всё, что она могла вспомнить, это игра в снежки с мальчишками из соседних дворов. Да, иногда снежок, крепко умятый мальчишечьей рукой, мог больно врезаться в лицо и даже оставить синяк, но ей никогда не было от этого так страшно, как сейчас, на краю разбомблённой станции, на которой где-то лежит обгоревшее тело её мужа. А здесь может остаться в полном одиночестве её маленькая Берточка, что с ней будет, если Раю убьют? Она должна спасти дочь, – только эта мысль была у неё в голове. Поднявшись с земли и став на четвереньки, она обхватила сапог стоящего рядом с ней мужчины и зарыдала, вымаливая прощение.

– Фу-ты ну-ты! Да отцепись ты от меня! Не сейчас вас будем кончать, не вопи. Вон малую свою уйми, а не то дырку ей в башке сделаю, орёт так, что мозги все полопались. Иди вон туда, за другими вашими.

Рая подхватила Берточку и пошла в указанном направлении. Её била нервная дрожь, она подняла рыдающую Берточку на руки и прижала к себе. Но напуганный голодный ребёнок никак не мог успокоиться. В страхе за Берточку, Рая впервые в жизни закрыла вырывающейся дочери рот рукой. И лишь когда отошла на расстояние, с которого плач Берточки не мог выделяться на фоне остальных плачущих детей, она отпустила её и дала волю рыдать.

На Люську она даже не оборачивалась, чтобы не спровоцировать ещё какое-то действие с её стороны. Рая не могла понять, как Люська могла так поступить, ведь они были подругами, пусть и не самыми близкими, но ходили друг к другу в гости, и никогда ничего такого она за Люской не замечала. А уж ей самой и подавно было всё равно, какой национальности были её подруги и друзья её мужа. В многонациональной Одессе места хватало всем.

Вскоре измученных еврейских женщин с малыми детьми куда-то погнали пешком. Они прошли несколько километров, волоча за собой отказывающихся идти детей, у которых не осталось сил даже на слёзы. Это был просто молчаливый детский бунт. И если сопровождающие их мужчины могли криками и угрозами заставить женщин идти, то дети ни на что не реагировали. И, кроме истошных воплей, получить от них было нечего.

Наконец вдали показался отдельно стоящий хутор. Начинало темнеть, и сопровождающие стали всеми силами подгонять вымотанных женщин. Хозяевам хутора велели освободить хлев, куда загнали женщин с детьми. Через какое-то время в хлев занесли ведро с водой и кружку. Кинувшиеся к ведру женщины старались выхватить кружку, чтобы напоить в первую очередь своего ребёнка. Ведро немедленно опрокинули, и все остались без воды до утра, напрасно передравшись в грязи хлева. Кое-как пристроившись, люди пытались забыться сном, чтобы обмануть пустые желудки. Женщины качали своих малышей, напевая им колыбельные. Малыши были голодны, но ещё они были и страшно уставшими, и напуганными. А мамы знакомые напевы потихоньку успокаивали, мамы тела согревали, и дети засыпали нервным сном.

Глава 4. Путешествие к концу жизни

Утром женщин с детьми выгнали из хлева во двор. У измученных детей даже не было сил хныкать. Матери тоже были в плачевном состоянии. От недостатка воды кружилась голова и подгибались ноги. Осмотрев пленниц, полицаи пришли к выводу, что в таком виде у них нет никаких шансов дойти до места назначения. Прежде всего женщинам разрешили достать из колодца столько воды, сколько требуется. Тяжёлое цинковое ведро с шумом грохочущей цепи летело вниз, завершая полёт гулким ударом об воду. А потом начиналось самое трудное: нужно было обессиленными руками вращать огромный металлический ворот, который то и дело вырывался и норовил отправить полное воды ведро в глубину колодца. Полицаи лишь усмехались, глядя на попытки женщин. Но, даже если получалось поднять ведро на поверхность, его ещё требовалось вытащить за сруб колодца. Брались за дужки по двое, но ведро явно не хотело подчиняться слабым женским рукам. Оно привыкло к тяжёлому крестьянскому прикосновению, чётким и сильным движениям. В таких руках оно вело себя послушным ребёнком, безоговорочно выполняя все требования хозяина.

В конце концов удалось напоить и женщин, и детей. Памятуя опрокинутое ночью ведро, с этим обращались бережно, стараясь не пролить лишнего. Но голод заглушить холодная вода была не в силах. Хозяйка хутора вынесла несколько свежеиспечённых караваев. Дурманящий запах свежего хлеба поплыл по воздуху, будоража голодных женщин и детей. Дети немедленно начали плакать, напоминая о своём присутствии. На этот раз и полицаи повели себя осмотрительней, разделив каждый каравай на несколько частей. Им было плевать, наедятся ли дети и их матери, они понимали, что те, кто не получит ни крошки, не смогут идти.

Женщины старались в первую очередь дать поесть детям, но и сами должны были получить хоть что-то. Хозяйка хутора смотрела на незваных пришельцев со смешанным чувством: с одной стороны, ей было жаль несчастных женщин и плачущих детей, а с другой – ей не терпелось дождаться того момента, когда они покинут её владения, чтобы заняться своим крестьянским трудом и прежде всего навести порядок после чужих людей.

Наконец всех построили в неровную колонну и погнали против солнца, нещадно слепившего глаза. Если их гонят против утреннего солнца, стало быть на восток. Их гнали туда, куда они и хотели попасть, убегая от войны. Но больше не стучали колёса на стыках, и рядом не было заботливых мужчин, с которыми было так надёжно и спокойно. Они остались одни с маленькими детьми, гонимые в неизвестность.

Часам к четырём их пригнали на небольшую станцию. Здесь почти не было следов бомбёжки, пути были целы, и на них стоял поезд. Старенький паровоз стоял под парами, обходчик важно шествовал вдоль поезда, простукивая буксы, словно и не было никакой войны. Но она была, и присутствие множества людей в серой мышинной форме постоянно об этом напоминало. С их появлением и сопровождающие колонну полицаи стали агрессивнее отрабатывать хозяйский хлеб. Всё больше женщин получали тычки прикладами и пинки. В некоторых местах лежали трупы. Пожилые мужчины собирали их в штабеля. Они тоже получали тычки и удары. Что-то отличало их от обычных местных жителей. Они явно не были крестьянами, привычными к тяжёлому физическому труду. Толкание тележки и поднимание трупов давалось им с большим трудом. Рая не отводила от них глаз, она уже догадывалась, кто эти люди, но ей всё ещё не хотелось принять увиденное. Это были евреи, такие же бесправные и униженные, как она и как все остальные женщины и дети их колонны. Не веря своим глазам, она смотрела, как в один из товарных вагонов загружали группу людей. Их гнали как скот, подгоняя ударами и натравливая на них собак, рвущихся с поводков. Стоял страшный гвалт: кричали взрослые и плакали дети. На перроне валялись разбросанные чемоданы и узлы. Людям ничего не позволили взять с собой. Страшные мысли лезли в голову: куда и для чего могли везти

людей, у которых отобрали все вещи? Вывод был только один: они им больше не понадобятся. Нескольких стариков, не сумевших подняться в вагон по узким мосткам, расстреляли прямо на глазах у всех. К станции непрерывно подводили всё новые колонны, которые немедленно грузили в вагоны.

Колонну, в которой были Рая и Берточка, подняли и подогнали к вагону. Полицай дал команду, и женщины ринулись вперёд, стараясь попасть в вагон как можно раньше, чтобы избежать побоев и спасти детей от укусов собак. Сорвавшимся с мостков никто не помогал, каждый думал только о себе и своём ребёнке. Овчарки захлёбывались от злобы, стараясь схватить огромными клыками любого подвернувшегося, будь то женщина или ребёнок. Наконец массивная дверь товарного вагона была захлопнута и закрыта на замок. Света, проникавшего через щели, было достаточно, чтобы осмотреться. На голый пол попадали обессиленные женщины и дети. Рассчитывать на глоток воды или кусок хлеба здесь не приходилось. Единственным предметом, находившимся в вагоне, было большое ведро, от которого исходил едкий запах отходов человеческой жизнедеятельности. В этом вагоне уже возили людей, и на память от них остались растоптанные дужки очков, обрывки одежды и несколько единичных туфель и детских сандаликов. На полу не было даже соломы. Ужас охватил обитательниц вагона. Шум, доносящийся снаружи, явно указывал на продолжающуюся погрузку людей в поезд.

Вскоре паровоз сдал немного назад, чуть прижимая вагоны друг к другу, а потом резко дёрнул вперёд, отчего те, кто оставался на ногах, попадали на сидящих. Поезд покидал станцию, а людей покидала всякая надежда. Кто-то выл во весь голос, а кто-то пытался бормотать молитвы, прижимая к себе детей. К ведру сразу установилась очередь, и вскоре оно было почти полным. Люди старались отодвинуться от него подальше, но нестерпимая вонь растекалась по всему вагону каждый раз, как на повороте часть содержимого выплёскивалась прямо на пол. Единственным спасением был свежий воздух, попадавший в вагон через щели, но и он не мог решить всех проблем. Поезд то ехал, постукивая на стыках, то останавливался, а потом медленно набирал ход. Несмотря на то, что во время движения поезда в вагон не врывались полицаи и никого не били, всем хотелось попасть куда угодно, только не оставаться в этом мрачном угрюмом месте, где пахло испражнениями и смертью.

Стемнело, и измученные пассажиры стали засыпать. Рая проснулась оттого, что кто-то пытался стянуть у неё с ноги туфлю. Она немедленно схватилась за неё, намереваясь биться до последнего. Но женщина лет тридцати положила свою руку на её рот, и, не зная почему, Рая подчинилась властному движению её руки. Женщина поманила её за собой, и Рая, словно змея, подчиняющаяся опытному факиру, стала пробираться за ней, перебираясь через спящих. Вскоре Рая поняла, для чего понадобились её туфли. Заметив небольшую дыру в дальнем углу вагона, возможно, оставленную предшественниками, кто-то решил попробовать расширить её, для чего в ход пошли всевозможные предметы. Пытались даже снять дужку с ведра с нечистотами, но сил на это не хватило. И тогда решили ковырять доски всем, что попадётся под руку. Уже несколько пар раскуроченной обуви лежало вокруг. Рая молча сняла с себя туфли и принялась каблуком отделять древесные волокна.

Работа шла очень медленно, инструмент был явно для этого не подходящим, но больше ничего, кроме голых рук, у этих женщин не было. И они использовали последнюю в своей жизни возможность спасти хотя бы детей. Рая быстро устала, к тому же большой живот не позволял ей надолго сгибаться в нужной позе. Её сменили другие женщины, пытавшиеся как можно тише отковыривать мелкие кусочки древесины, чтобы дать своим детям шанс выбраться отсюда. Рая вернулась на место, чтобы забрать Берточку, малышка нервно вздрагивала во сне. Она перенесла её поближе к ковырявшим дыру женщинам и время от времени тоже включалась в процесс. Они ковыряли всю ночь, подменяя друг дружку. Ближе к утру образовалось отверстие, в которое можно было с трудом просунуть маленького ребёнка. Теперь следовало

дождаться остановки поезда и постараться вытолкнуть детей, уповая в дальнейшем только на судьбу.

Перед рассветом поезд стал замедлять ход, и женщины приготовились осуществить задуманное. Следовало вести себя тихо, не привлекать внимания всего вагона, иначе было бы невозможно спасти хоть кого-нибудь. Все прекрасно помнили, что произошло на хуторе во время схватки за воду. Женщины целовали сонных детей, прощаясь с ними навсегда. Рая прижала к себе спящую Берточку, и что-то кольнуло ей грудь. Она сунула руку за пазуху и нашупала серебряную цепочку с небольшим кулончиком в виде сердечка, из середины которого давно выпали маленькие рубины. Это был первый подарок её мужа. Она сама не понимала, почему именно эта недорогая вещица была ей особенно важна. Рая немедленно сняла цепочку с себя и надела её на Берточку, напевая всё время её любимую колыбельную. Поезд замедлил ход, почти остановившись. Медлить больше было нельзя, нужно было рисковать, и женщины стали осторожно опускать детей в проделанное отверстие.

Подошла очередь Раи, и в несколько последних совместных секунд она покрывала Берточку поцелуями. Самый последний поцелуй пришёлся на большую родинку на шее Берточки, после чего одна из женщин помогла ей как можно осторожней опустить девочку в отверстие, но поезд продолжал движение, хотя и очень медленно, поэтому положить детей аккуратно не представлялось возможным. Рая сердцем прочувствовала момент касания Берточкой больших деревянных шпал, и у неё перехватило дыхание.

Всё, она осталась совсем одна в этом мире. Её муж погиб при бомбёжке, любимая дочь осталась одна на грязных шпалах, и никто не мог ей помочь, разве только чудо. Но в этом вагоне никто не слышал молитв матерей и никто не собирался делать для них чудеса, на противоположной стороне были свои злые волшебники, которые тщательно рассчитали каждый свой шаг, чтобы их зло ненароком не встретилось по дороге к последнему пристанищу с неожиданным проявлением добра. Бог был далеко и никого не слышал. Видимо, он вообще не был в курсе всего происходящего, ибо поверить в то, что он знал и не остановил это безумие, было просто невозможно. Вокруг бесшумно рыдали матери, простившиеся с детьми. Они зажимали себе рты, давясь слезами. Что ещё могли сделать эти несчастные для своих детей, кроме как дать им минимальный шанс на спасение? Некоторые оставались с детьми постарше, для которых отверстие было слишком маленьким. И этих оставшихся они прижимали к себе с удвоенным усилием, словно им приходилось удерживать и тех, спущенных через отверстие. Рая даже позабывала тем, у кого ещё остался в вагоне ребёнок: они были не одни перед лицом приближающейся развязки. А у неё... у неё никого не было. Внезапно она почувствовала резь в животе и лёгкий толчок. Это был тот, кто остался с ней в этот тяжёлый час. Она положила руку на свой большой живот и почувствовала, как плод толкает ножкой её руку. И ей стало так больно, она испытала чудовищный страх. Теперь она боялась за обоих своих детей: за Берточку, оставленную на путях, и за новую жизнь, которая лёгкими толчками заявляла свои права.

Вагоны дёрнулись, и все, кто не лежал, покатались кубарем. Упала женщина, пытавшаяся оправиться над ведром. Зацепившись, она опрокинула его в падении, и всё содержимое растеклось по вагону. Но никто даже не шевельнулся, к воню уже привыкли, она их не пугала, страшнее было их недалёкое будущее. Никто не помог несчастной подняться, так она и застыла, скорчившись от удара о ведро, не имея сил разогнуться. Рваный гудок паровоза, ещё один рывок вагонов, несколько минут дороги, и поезд начал тормозить. Вагон немедленно наполнился голосами плачущих детей, все поднимались со своих мест, готовясь как можно быстрее покинуть вагон, в котором вместе с ними ехала сама смерть. Они ещё надеялись на что-то: а может быть, им повезёт и всё окажется не так страшно? А вдруг?

Со скрипом и лязгом отъехала в сторону дверь вагона, и сразу стало ясно, что ничего хорошего ждать не приходится. Вместо стука колес и паровозного гудка, вместе с прохладным утренним воздухом в вагон ворвались абсолютно другие, тревожные звуки. Повсюду кричали

люди и лаяли собаки, время от времени раздавалась автоматная очередь, и воздух наполнялся визгом напуганных людей. У дверей вагона уже стояли четыре человека в серых робах с нашитыми номерами, в руках они держали деревянные мостки. По приказу офицера они шагнули к вагону с двух сторон и составили вместе половинки сходней. И тут же людская масса стала высыпаться из вагона, толкаясь и крича. Разыскивали детей, выпустивших руки матерей, но дотянуться до них через клубок тел было невозможно. Замешкавшихся на сходнях били плёткой и прикладами, страшного вида злющие собаки рвались с поводков и норовили вырвать кусок мяса из тела очередной жертвы. Упавших со сходней поднимали пинками и гнали вперёд, а там их подхватывали другие изверги и впахивали в нестройную колонну, где пленницы сбивались в кучу, стараясь прикрыть детей своими телами. Мужчины в серых робах оттаскивали в сторону убитых.

Наконец все вагоны были очищены от пассажиров, и колонну погнали вперёд. Идти пришлось совсем немного, последняя остановка находилась всего в сотне метров от ворот, состоящих из досок, несущих основную нагрузку, и колючей проволоки, заполнявшей всё свободное пространство. И там, за этой колючей проволокой, можно было рассмотреть длинные бревенчатые домики. Перед некоторыми из них стояли люди, но до них было всё ещё далеко, и не было слышно, какие команды им отдают стоящие перед ними люди в форме. Но видно было, как люди разом начинали спешно что-то выполнять, а потом замирали в ожидании следующей команды.

Слева от ворот, чуть в глубине, виднелось здание с высокой трубой. Из трубы валил чёрный дым, непонятный запах разливался в воздухе, наполняя сердца и души тревогой. Но остановиться, чтобы оглядеться, не было ни малейшей возможности: колонну женщин с малышами, нещадно подгоняя всевозможными способами, вели вперёд. Последовала команда остановиться, и колонна встала, продолжая колыхаться из стороны в сторону. На дороге плакали несколько отставших детей, матери, попытавшиеся было прийти к ним на помощь, наткнулись на непреодолимые препятствия. Вот один ребёнок остановился, словно споткнулся, и упал, сражённый пулей. Вся колонна завизжала от страха и чуть было не рассыпалась, но автоматная очередь над головами, овчарки со всех сторон и люди в форме, хорошо знающие своё дело, моментально собрали колонну в единое целое.

Двое мужчин и одна женщина в офицерской форме сортировали вновь прибывших. Детей сразу отделяли от матерей, несмотря на визги и попытки защитить свои чада. Строптивых женщин избивали и пристреливали. Напуганная толпа расставалась со своими детьми, уповая только на милость всевышнего. Больше помочь им матери не могли. Детей закидывали на повозку с высокими бортами, откуда они не могли выбраться. Они лишь до последнего смотрели в щели бортов, пытаясь разглядеть своих матерей и услышать последние наставления. Впрочем, услышать в этом гвалте что-либо было невозможно. Вскоре повозка, запряжённая старенькой лошадкой, тронулась в путь, навсегда отделяя детей от их матерей. Пытавшихся вырваться из строя и бежать за повозкой немедленно травили собаками, злобно впивающимися в измождённые обессиленные тела.

Дошла очередь и до заплаканных, дрожащих от страха женщин. Всех их раздевали догола прямо у ворот лагеря. Женщины в серых арестантских робах деловито и быстро собирали вещи в большие корзинки и уносили их в ближайший барак, возвращаясь с опорожнёнными, которые вновь и вновь наполнялись. Было страшно и мерзко стоять голыми перед мужчинами, не имея возможности прикрыться руками. За такую попытку можно было сразу получить удар плетью. Впрочем, мужчины не выказывали никакого интереса к голым женщинам. Для них это был лишь человеческий мусор, который следовало рассортировать, определив, кто из этих женщин закончит жизнь сегодня, а кому выпадет прожить ещё несколько дней. Бросив скользкий взгляд на Раю, офицер указал ей рукой с плёткой встать в левую колонну. Рая стояла

рядом с другими женщинами, а вражеские солдаты пялились на них. Но в какой-то момент пришло равнодушие к их взглядам, сделать женщины всё равно ничего не могли.

Сортировку закончили, и их погнали в сторону строения с большой трубой, дым из которой опадал мелкими хлопьями на пленниц и их сопровождающих. Женщин поставили в длинную очередь. Через определённые промежутки времени открывалась широкая дверь, и часть колонны загоняли внутрь. К акая-то безнадежность поселилась в сердцах, пленницы смирились со своей участью и готовились принять неизбежный конец. Оставшись без своих малышей и понимая, что им уже никогда не встретиться, они теряли желание жить. И только жаркое солнце второго месяца лета понимало их.

Они стояли уже несколько часов, скоро последний солнечный лучик скользнёт прощально по их спинам, и они войдут в последнюю дверь в своей жизни. Внезапно всё изменилось, дым над трубой стал редеть, дверь распахнулась, но вместо того, чтобы загнать в неё очередную порцию людской массы, из неё выскочил человек в военной форме и быстро побежал вдоль колонны, не обращая никакого внимания на стоящих. Вскоре к зданию быстрым шагом прошли несколько человек, дверь за ними закрылась, и время изменило свой ход. Теперь сердца узниц забились быстрее, почувствовав отсрочку приговора. Появилась слабая надежда, ниточка которой могла оборваться в любой момент, но сердца уже ухватились за неё, трепетно забившись и не желая обрывать. И сразу вернулись мысли о детях: может быть, они ещё живы? А может быть, ещё суждено увидеться?

В тот момент, когда дверь распахнулась, напряжение толпы достигло максимального накала, но вышедшие прошли мимо женщин, остановились возле охранявших их солдат и отдали тем какое-то распоряжение. После этого всё пришло в движение, женщин развернули и погнали в сторону барачков. Они шли голыми по территории лагеря, но, казалось, всем это было абсолютно безразлично, никто на них не глазел. Немцы не считали их за людей, а заключённые были озабочены собственным выживанием, к тому же мужчин-заключённых почти не было. Женщины шли голыми, сбивая и ранив ноги, но никто не жаловался, потому что у них появилась малейшая надежда выжить. Они ввалились в пустой барак и, забравшись на деревянные нары без всякой подстилки, замерли, стуча зубами от страха и холода.

Через несколько минут после того, как их завели в барак, в него зашли несколько женщин с дубинками в руках. Одна из них была в чёрной форме, а остальные были одеты в серые арестантские робы с повязками на правых руках. Прозвучала команда построиться. По спинам замешкавшихся немедленно загуляли дубинки. Их били и материли до тех пор, пока они не выстроились в три ряда возле нар.

Глава 5. В плену

Старшина командовал зычным голосом, подгоняя вновь прибывших. Да и чего колготиться? Быстро получили всё необходимое – и на обед. А уж после обеда и оружие почистить, подсумки патронами укомплектовать да под себя подогнать. Письмо домой на коленке опять же – святое дело. Не сегодня завтра всех поубивают, а письмо ещё два месяца в пути, да следующего ждать столько же будут, а там гляди и война закончится. Нет, следующего, конечно, не получат, здесь по столько не живут, чтоб вот по два письма отправить успеть. Даже если завтра не убьют, не будешь же ты, вернувшись из боя, грязный и уставший, выводить каракули дрожащей рукой.

Да и о чём писать-то? Всего один бой, а ты просидел в окопе, не высываясь, что здесь героического? Так и напишешь своим: так, мол, и так, мои дорогие, сидел я на дне окопа и дрожал, что твой заяц, да молитвы вспоминал. А они никак в голову и не лезли. А потом, когда дали команду «в атаку», то стыдно было во весь рост подняться, потому как портки замочил. Это когда прямо рядом с окопом танковый снаряд разорвался. И сам не заметил, как это произошло, руку вниз опустил, а там... стыдоба какая. А в атаку хошь не хошь, а подниматься придётся. Все на бруствер полезли, не останешься же со своими подмоченными портками в окопе, так хоть, может, убьют, а мёртвые срама не имут. А жить в мокрых портках красноармейцу никакого резона нет. Всё одно как труса расстреляют, был бы смелым – портки б не обмочил. Не понял, что это? Да неужто не один он обмочился? Мать честная, курица лесная, три четверти взвода и сам товарищ старшина с мокрыми разводами. И все друг друга оглядывают, даже легче как-то стало. Раз не один такой, так, может, всех-то к стенке за трусость ставить не будут?

– Сынки! Слушай мою команду!

Папаша... мать твою... ты на пяток лет всего и постарше, да стоишь перед подчинёнными в мокрых штанах. Какие мы тебе сынки?

– Штыки примкнуть! Да не трясутесь! У меня тоже штаны мокрые! Это нормально! Зато нам больше бояться нечего! Слушайте меня, сынки! Чем быстрее мы до фрица добежим, тем меньше у него времени будет нас из пулемётов полосовать. А там коли да руби! Да не палите зря на ходу, патроны экономьте! А штаны мы ещё высушим! Вперё-о-о-д!

И нестройно потянулись. Ура кричать бесполезно, немец, как бегущих к нему увидел, тут же огонь шквальный открыл. Молча бежит рота, и молча редеют её ряды. Может, кто и кричал, да разве разберёшь? А по сторонам лучше и не смотреть, глянешь – и страшно станет, жить захочется, какая тогда атака? Как там старшина учил: выбрать точку и бежать на неё, по сторонам не глазеть, только под ноги иногда, чтоб кубарем не грохнуться.

А вот и фонтанчики пыльные под ногами. Очередями пулёмётными суки рубят! Попрыгали в воронку, голов не поднять. Где старшина, опять в атаку поднимать будет? Что? Ясно! Упокой Господь его душу! Да погоди, Господи, не старайся зря, вот сейчас мы ещё раз поднимемся, так потом всех разом и упокоишь, ибо кто выжить может в этом аду? Это ж сколько свинца над этим полем летает? Чать, не муха, рукой не ухватишь!

– Ну что, зассыхи, отсиделись, подсушились, а теперь оправдывайте доверие Родины! А ну, пошли!

Да где там пошли – трое тюфяками безжизненными в воронку свалились. Да здесь нас пристрели, товарищ командир, никуда мы не пойдём! Да не мотай пистолетом перед нашими мордами! Не видишь, что ли, обоссанные мы, уйди от греха подальше! Ну вот, видишь, кабы нам пример не казал, то до смерти папироску успел бы выкурить, а так, чего ж куреву пропадать, мы за тебя докурим.

Вот так дотемна и досиделись, а там, прячась за каждой кочкой и в каждой воронке, полтора десятка человек – всё, что осталось от полностью укомплектованной роты – ползком до своих. А оружия назад и того меньше приволокли. Хоть бы покормили, сволочи. Чего выстроили да пугалки свои нам в рожи орёте? Пулемёты всё равно погромче будут. Да и не боимся мы ваших расстрелов, нам всё одно где помирать: завтра ли в открытом поле, либо здесь под деревом. Это как поглядеть, здесь оно даже предпочтительней будет: жрать уже не надо будет, курить тоже – а это плюс, а то так потянуть хочется, что аж свербит. Да и оставят в живых – так портки замывать придётся, стыдухи не оберёшься. А там ночь трястись в мокром исподнем, да опять в атаку на убой. Ведь чего сегодня зазря под пули немецкие гнали? Ни на сантиметр не продвинулись, а народу уйму положили. Это ж только с нашей роты такой недобор, а сколько этих рот здесь было, вон, полковник небритый с серым лицом знает, больше некому.

– Вы трусы! Вы недостойны высокого звания красноармейца! Вы опозорили нас перед товарищем Сталиным! Что мы теперь ему скажем?

– Да пошёл он на хер, твой товарищ Сталин! И ты тоже пошёл! Что ж вы нас как скот на убой, без прикрытия! Вон сколько наших ни за чих полегло!

– Ма-а-а-алчать! Сукины дети! Да я вас сейчас всех под расстрел! Да я вас!

Ну что, что ты нас? Ты думал, что снаряды только по нашу душу летают? Ан нет, по твою тоже прилетел, аккурат как ты чужие решил к Господу Богу отправить. Значит, есть он там наверху, раз бесчинства такого не допустил. Вот и смотри теперь в небо. А бог пусть на рожу твою небритую полюбуется.

Вот незадача, особист цел остался. Ну этот за товарища Сталина любого на немецкий крест порвёт! Выстроился со своими опричниками, что Малюта Скуратов. Нет, не летит ещё один шальной, что ж вы, немчура, на снарядах экономите? Нет бы и этих прихватить на господне довольствие. Ох, сейчас зверствовать начнут! Мало им крови, что немцы нам попускали, так и этим не терпится.

– Кто?! Кто, суки, на товарища Сталина такое сказал? Выходи, мать-перемать, на месте расстреляю!

Ага, прям помчались. Твоя работа, иди сам и ищи, кто кричал. Ничего не знаю, ничего не слышал, а если б слышал, то сам бы за товарища Сталина! Вот ей-ей! Нашёл упырь, кого расстрелять. Чей взгляд не глянулся, того и к стенке. Да и то, не мог же он слова такие про товарища Сталина безнаказанными оставить. Надо ж хоть кого-то расстрелять, а то, не ровён час, свои же и донесут, что, мол, за товарища Сталина не вступился, самого к стенке и определяют. Ты это, извини нас, братишка. Завтра встретимся, чего сейчас разбираться, кто и что кричал. Отдыхай, а мы пойдём пайку солдатскую получим, а если нальют нам наркомовские, то помянем тебя добрым словом.

Тихо, ночью немец тоже отдыха хочет, потому зря и не стреляет. И наши пушки молчат. Артиллерист, он тоже человек, ему тоже поесть, попить, поспать треба. Завтра и навоюемся, а пока стучат ложки о котелки. Говорить неохота, всё и так ясно, а портки – да плевать на них, к утру сами просохнут, а не просохнут, так мы друг друга уже видели. А сейчас притулиться где-нибудь да поспать, пока в животе после каши тепло. Ну чего ты орёшь, какое оружие чистить? Вот сволочь, так и не даёт спать. Да что там чистить, старшина же сказал зря не палить, вот мы и не стреляли совсем. Ёшкин кот! Правы вы, товарищ лейтенант, ей-богу правы! Да кто ж думал, что она такая грязная? Зараз почистим, не извольте сумлеваться! Ну всё, дочистили, посты выставили, теперь спать.

Вода какая тёплая и небо красное! Это закат такой? Везёт же людям: и море им тёплое, и закат красивый. Перекреститься, да в воду – и саженками вперёд, а устанешь – так греби пособачьи. Либо перевернись на спину, да руки-ноги раскинь и отдыхай, на волнах качайся. Не надо меня за руки, товарищ особист, ей-богу, не буду больше креститься! Не топите меня, я

ещё пригожусь! Я могу завтра за товарища Сталина умереть! Ей-богу! Есть не говорить «ей-богу». Да что ж вы, товарищ особист, Матерь Божью так склоняете? Есть проснуться!

Господи, да неужель такое небо синее бывает, красота-то какая! Так бы и смотрел! Только солдату по нужде надо сбегать, не будешь же у себя под ногами безобразия разводите. А там и умыться-побриться, хоть потом и в атаку да к Господу Богу на свидание, но бритым всё одно приятнее. Каша вчерашняя, что с ужина, осталась? Сразу бы сказали, вчера б ещё по миске, зато сегодня бы на полчаса больше поспали. Повара, суки ленивые, хари отъели! Конечно, вчера столько народа полегло, каша осталась, не будут же они её выбрасывать, спасибо хоть подогрели. Где ж вы дрянью такую варить научились? Вчера с голодухи всё смели, а сегодня вкусовые ощущения вернулись, соли им мало да крупы. Жидкая, говоришь? А штаны у тебя какие? Вот то-то и оно, жри, да не перебирай!

Опять особист прибыл, неуж вчера крови не допил? И политрук с ним, шепчутся, задумали чего? Да хрен с ними, всё одно скоро в атаку. Что от их пуль, что от немецких, что от заградотрядовских... Как они вообще дали вчера к своим вернуться?

Из пяти рот одну неполную укомплектовали, что такой ротой сделать можно супротив пулемётов? Немцу работы на пять минут, чтоб всех в окрошку. А заградотряд поможет – так и за три вместе управятся. Нет, не гонят в атаку, ага, пополнения ждём, а пока собрание. Говорят, можно в партию заявление написать, а кто в бою себя хорошо покажет, того и примут. Нет уж, дудки, на тот свет ежели крещёный, то лучше беспартийным, так-то оно надёжней будет.

Не, поглянь, уболтал пяток, пошли заявления строчить, а нам опять заливают про великого вождя и коварного фюрера. Мы, что ль, тебе его в друзья выбирали? Сам с ним ручкался, а мы под пули. У этой власти и не поймёшь, кто друг, а кто враг. Вчера тебя на руках носят да в газетах прославляют, а завтра ты враг наипервейший, втёршийся в доверие к трудовому народу. И за всё трудовой народ сам отвечать и должен. И за то, что проморгал врага, и за то, что вчера ему цветы дарил да пионерские речёвки посвящал. А главный наш, он всё предвидел и всех разоблачил. Коли умный такой, чего ж их к власти допустил? С нами же не советовался? И Гитлер тебе другом был. А потом братья и сёстры, выручайте, говорит, ибо я в очередной раз не с тем человеком подружился. Вставай, страна огромная, своего неразборчивого вождя выручать. Шли лучших сыновей и дочерей под вражеские пули!

Вот собрание закончится, по папироске – и в бой. Да только какие мы лучшие, мы просто обоссанные. С такими штанами умирать за товарища Сталина просто совестно, может, не будем умирать, чтоб совесть потом не замучила? И опять услышал Отец Небесный! Врут! Врут, что тебя нет! Кабы не было, то уже штыки бы примкнули, а так, гляди, и до завтра доживём. Дольше вряд ли получится, а ещё хоть денёк прихватить не помешает.

О, пополнение! Ну что, салаги, подходите, сейчас вам опытные, закалённые во вчерашнем бою солдаты расскажут, как себя вести. Слушайте и запоминайте, если хотите лишние сутки прожить. Какое пятно вы у меня увидели? Чай я пролил! Чай! И у вас завтра во время атаки руки трястись будут да котелки не удержат, вот мы и посмотрим, сколько из вас чай прольют, а сколько кашу пороняют. Всё! Свободны, бойцы!

И ещё пополнение, эти уже не салаги необстрелянные, видно по ним. Поди, тоже бой или два пережили. Опытные, с такими и самим в атаку не так страшно. Может, ещё по разу выжить удастся, кто знает? Всё бы ничего, да вторым в наряд. Только заснёшь, а тебе тырк в плечо, вставай, боец, охраняй товарищей! Да не спи на посту, враг не дремлет! А у часового глаза слипаются. В сего-то и спал, поди, с полчаса, ходи тут возле позиций в темени. Вот сволочь, откуда ты взялся, а ну брысь! Уставился своими зелёными глазами, не уходит, не боится. Вот я тебя камнем, то-то же, с красноармейцем спорить, сказано же брысь!

Что это? Не было же разрыва снаряда, почему я в воздухе? Разве часовому можно летать? Ага, ноги уже земли коснулись. Это кто там балует, не видишь, что я на посту? А ну, поставьте меня и пароль назовите! Почему тихо так и шепчут не по-русски? Не может быть, не разыгры-

вайте меня, уж лучше к особисту на допрос! Поставьте меня, я завтра сам в партию попрошусь! И не я про товарища Сталина кричал! Сукой буду! Клянусь! Ну что же вы меня не отпускаете? Куда вы меня тащите? Гады! Сволочи! А страшно-то как, самое время опять штаны обмочить! Да ещё и шею сжимает, совсем дышать не даёт, тут уж не только крикнуть, а даже и пискнуть не получится. И своих не предупредил, говорили же быть бдительным. Всё, растаяли в темноте свои позиции, до чего ж тихо крадутся гады!

Ну что же вы, наши? Ведь надо позиции проверять, ну пароль там, отзыв! Ну не видите, что ли, часового нет на месте? Тревогу объявляйте и на подмогу давайте! Ну где же вы? Ведь ещё минута, и насовсем утащат! Почему так тихо? Почему никто меня не ищет? Господи, пропал! Пропал! Ещё одно чудо, Господи, ну что тебе стоит? Я же точно знаю, что ты есть! Как, ну как там тебе молятся? Господи, или ты не видишь, куда я попал?

Вокруг одни немцы. Как жаль, что второе письмо не написал, а теперь комвзвода похоронку напишет, если сам из завтрашнего боя вернётся. Да ведь он не похоронку напишет! Вот уж где страх почище обмоченных штанов! Я же не погибший, а пропавший без вести, а то и перешедший на сторону врага! Боже мой, что делать, что делать?! Господи, спаси меня, Господи, раба твоего. Иже еси на небеси... как там дальше? Дева Мария, нет, не так! Пресвятая Дева Мария! Точно, да, Пресвятая! А дальше, как там дальше? Говорил дядька, в церковь надо было ходить, а не на комсомольские собрания, а что сейчас, товарища Ленина с Карлом Марксом вспоминать? Как страшно, озноб по всему телу, сейчас допросят – и в расход. Будут пытаться? Наверняка, разве сам бы вот так вот просто пленному поверил? Тоже бы пытал, вот ведь влип! О Господи, пошли мне пулю или снаряд. Я знаю, ты можешь, ведь послал же полковнику небритому! А я побрился, я ж тебя уважаю, чего ж я в таком виде к тебе? Забери меня, Господи, не больно, Христом Богом прошу тебя! Не слышит Господь, видно, тоже по ночам отдыхает, а вам бы его круглосуточно теревить.

Поставили на ноги, пока никто не бьёт, только голоса радостные, чужие, что бормочут, не понять. Ну конечно, рады, что русского в плен утащили. Как же мешает мешок на голове дышать и видеть! А может, лучше и не видеть? Пусть бы так и пристрелили: пока тряпка на голове, не так страшно. Господи, это они наверняка смеются, как я здесь дрожу перед ними, солдат непобедимой Красной армии, да ещё и с обмоченными штанами, ведь так и не пошёл замывать, в надежде, что назавтра в атаке всё одно погибать. А оно вон как вышло, к врагу в плен попал, да ещё и в таких штанах. Плевать на вчерашнее, кажется, мне и сегодняшнего хватит. Господи! Ну где же ты? Где?

Сдёрнули мешок с головы, сразу свет по глазам ударил, хоть и не такие яркие лампы в блиндаже. Сгрудились вокруг, смотрят с любопытством. Вроде люди как люди, без клыков и без хвостов.

– Рус, тринк.

Вода, Господи, как хорошо, ведь пересох весь от страха. Никто не бьёт, ждут, наверное, когда напьюсь.

– Как тьебья зовут, солдат?

Что сказать? Врать или правду говорить? Если совру, то как они смогут проверить? Или лучше правду? Ведь если уличат, что вру, то наверняка расстреляют?

– Говорить! Ньет мольчать!

– Трошин Константин.

– Номер твой дивизия? Кто твой командир?

Что же делать дальше? По уставу выдавший хоть что-то врагу уже предатель. Значит, сообщив свои имя и фамилию, уже предал Родину? А что будет, если промолчу? Ну не для того же они рисковали группой, чтобы похитить, а потом наслаждаться игрой в молчанку. Они выбьют всё, что знаю и не знаю. Боже, как страшно. А что будет, если просто сообщу им название своей воинской части и имя своего взводного? А даже если и особиста? Что изме-

нится? Нужно рассказывать, разве знание ими номера воинской части и имени командира как-то могут повлиять на исход войны? Они всё равно завтра всё там уничтожат, но тогда я смогу выжить. А смогу ли? Они ничего не обещают и ничего не говорят, только этот немец задаёт вопросы на ломаном русском. Что они с меня хотят, ведь я ничего не знаю, я всего два дня на позициях, дальше своего окопа и кухни никуда не ходил. Ах да, один раз в атаку, добежал до первой воронки и там отсиделся. Что я могу знать?

– Сколько тяжёлый пушка есть в твой дивизия? Сколько лёгкий?

Господи, ну что им сказать? Если скажу, что не знаю, начнут бить, думая, что вру. Если скажу, что нет таких, тоже не поверят. Сколько же может быть пушек? Была не была, только бы не ляпнуть чего-нибудь такого, за что сразу убьют.

– Было шесть тяжёлых, и ещё две привезли вчера. А лёгких – штук пятнадцать.

Что я несу? Какие тяжёлые, какие лёгкие, я ведь их в глаза не видел! Слышать, конечно, слышал, но кто ж меня из окопов отпустил бы смотреть пушки, да ещё и сравнивать их технические характеристики?

– Какие пушки?

– Да я в них не понимаю!

Вспышка. Какая дикая боль!

– Смотреть мне в глаза. Не врать! Какие пушки?

– Лёгкие сорокапятки. А тяжёлые правда не знаю, хоть убейте!

– Если будешь врать, то убьём. Сколько солдат есть в ваши окопы?

Так, сколько же солдат? Из пяти рот сделали одну неполную, это человек восемьдесят, да две группы подвезли, новобранцев и тех, что бой или два прошли, да заградотряд. Сколько же это вместе?

– Четыреста.

Четыреста – это много или мало? Что я делаю: выдаю своих или спасаю собственную шкуру? Но ведь не знаю точного количества и говорю наобум. А если я сказал бы, что там двести человек, могли бы они поверить? И что лучше для своих: сказать, что больше или меньше?

– У вас есть танки?

Танки... танки... Слышал звук моторов, но сами танки не видел. Есть ли сейчас на позициях танки? Что же им ответить? Опять вспышка. Они просто убьют меня, если я не буду говорить.

– Я видел семь.

– Какие это танки?

– Т-34.

Ну конечно, что я мог им ещё сказать? Какие есть танки в Красной армии, Т-34 да КВ, может, есть и ещё какие, только я про это не знаю, я ведь не танкист.

– Можешь показать на карте, где танки?

Чёрт, всё плывёт перед глазами. Карта перед носом, ничего не видно.

– Где были позиции? Так... а где мы сейчас?

Немец помедлил, ткнул дважды в карту пальцем.

Нужно что-то делать, ещё несколько ударов, и они выбьют из меня все мозги. Так, если наши здесь, а фрицы впереди, то куда могли поставить пушки? Как учили на уроках географии, тёмным окрашивается самое высокое место. А куда я сам бы поставил пушки, будь артиллеристом? Ну конечно же повыше. А как бы сделали немцы? Наверное, то же самое. Значит, я не скажу ничего такого, что будет выглядеть как ложь. В конце концов, я же действительно не знаю, где пушки.

– Вот, вот здесь. И здесь тоже.

– Это тяжёлый или лёгкий пушка наверху?

– Конечно лёгкие, кто ж тяжёлые туда закатит?

– А танки? Где есть танки?

Танки... танки... где же могут быть танки?.. Ну конечно, если наверху только лёгкие пушки, то тяжёлые и танки только внизу.

– Вот здесь и вот здесь.

– Ты не есть врать?

– Нет. Ни в коем случае. Вы мне хорошо объяснили, что будет с тем, кто врёт.

Допрашивающий подошёл к карте и воткнул в неё несколько синих флажков, следуя указаниям Константина.

– Кто твой командир?

Ну это просто, даже не надо ничего выдумывать. Костя спокойно назвал фамилию погибшего от шального снаряда полковника. Невольно перед глазами возникло его худое, небритое лицо, обращённое к небу. Какая разница, как звали того полковника, фамилию нового командира он всё равно не знал. А вот фамилию особиста, велевшего расстрелять солдата, он произнёс вообще безо всякого сожаления.

А немец всё задавал и задавал вопросы. В какой-то момент Константин понял, что его пытаются запутать, чтобы выяснить, не врёт ли он. Конечно, даже малая часть информации, переданная врагу – это предательство, а бросить его и ещё тысячи солдат под пулемётный и пушечный огонь – это не предательство? А отправлять их в атаку со штыками против немецких укреплений – это не предательство? А после этого ещё и расстреливать тех, кто не захотел так просто умереть, не говоря уже о том, что им в спину дышали раскалённым огнём собственные пулемёты заградотряда. Должен ли он, совсем молодой, ещё и не живший парень, прикрывать всё это ценой собственной жизни? И даже если он не произнесёт ни слова под пытками, которые, не уверен, можно ли вообще выдержать, то скажут ли ему за это спасибо? Скорее всего, его уже записали в предатели, а особист отдал приказ немедленно расстрелять после задержания. Значит, он обречён: к своим нельзя, да и где они, свои? Там, в окопах? Да, они всё равно продолжали быть своими, несмотря на все те несурзности, которые делали. Те, в окружении которых он мямлил ответы, точно не были ему друзьями. Но от них сейчас зависела его жизнь, он пробовал цепляться за неё, но чувствовал, как она утекает с каждым ответом на вопрос. Он становился всё менее и менее нужным для своих пленителей. Приходило осознание того, что страх умереть уходит на второй план, он уже сроднился с мыслью неизбежности смерти. Разумеется, его расстреляют, не будут же они ставить ради него виселицу. И потом, здесь же война и полно оружия, пулю в голову, и все дела.

Постепенно он даже начал осматриваться в блиндаже. Большая карта на стене с воткнутыми флажками. Ага, красные флажки – это немцы, а синие – наши. Хотя было бы логичней наших сделать красными. Впрочем, какая теперь разница, через двадцать – тридцать минут его расстреляют и бросят труп где-нибудь подальше от окопов, чтобы не вонял. Константин уже сталкивался со смердящим трупным запахом, рядом с окопами находились несколько погибших солдат, чьи тела было опасно вытаскивать с легко простреливаемой местности. О них старались не думать, но каждый раз набегающий на окопы ветерок напоминал о тонкой грани между жизнью и смертью. Хорошо, что умерев, он будет отравлять немцам воздух, хотя это и не лучшее утешение. Но иные мысли никак не лезли в его голову. А как же другие приговорённые к смерти, декабристы, Овод, что они чувствовали, просили ли о пощаде? Да и есть ли смысл просить о чём-то во время войны, лучше умереть спокойно.

– Не молчать! Спросил про железный дорога!

– Что железная дорога, – не понял вопроса Константин и немедленно ощутил новую вспышку в голове.

Всё пошатнулось и поплыло в сторону. Будь руки развязаны, возможно, он и постарался бы хватиться за допрашивавшего его офицера. Но верёвки давно и прочно врезались в его

руки за спиной, так, что он уже перестал их чувствовать. Никаких вариантов больше не было, и Константин провалился в черноту.

Море, он уже купался в нём. Такое ласковое в закатных лучах. А вода, почему сегодня она такая холодная, просто ледяная? Зачем ему плещут её прямо в лицо, заливая рот и нос? А закат, почему он впивается в его глаза, залезая под веки? А кто это вообще оттягивает ему веки, позволяя яркому солнцу забираться прямо в мозг через зрачки?

– Рус, ты не ешь умирать. Вставай, ферфлюхте швайн! Ты умереть, когда я сказать! Я спросил железный дорога! Он работать?

Константин лишь утвердительно кивнул и постарался опять погрузиться в сон с красивым закатом. Но ему не позволили этого сделать. Он опять почувствовал холодную воду на своём лице. Кто-то поднимал его с пола и усаживал на табуретку, перед глазами всё по-прежнему плыло. Его голову удерживали за шею, волос у него не было: все новобранцы были подстрижены под ноль. С носа что-то текло, Константин хотел вытереть, но ощутил связанные за спиной руки. Его голова продолжала безвольно падать вниз.

Он услышал какую-то команду, а потом почувствовал что-то резко бьющее в нос и ударяющее в самый мозг. Он дёрнул головой назад, но его удержали и не позволили упасть. Качка понемногу улеглась, и комната выровнялась. Чьи-то руки поднесли ему флягу с водой, он было жадно припал к ней, но флягу отняли, и рот немедленно стал сухим. Сейчас он был загнанным в угол зверем. Его жизнь полностью зависела от желания охотника. Пленный уже рассказал всё, что знал, больше он не был нужен. Константин глубоко вдохнул, сознание понемногу возвращалось. Предметы приобрели очертания, и охотник, стоящий перед ним, уже вдоволь наслаждался властью над беззащитной жертвой. И Константин понял, он больше не боится охотника, потому что знает: игра окончена. Больше охотник ничего не сможет ему сделать. Ещё пара ударов ничего не решит, жертва перестала бояться.

Охотник стоял перед ним, решая, хочет ли он продолжать игру. Постоял, потом сделал брезгливый жест рукой, словно приказывая убрать нечистоты. Сильные руки сзади подхватили Константина и потащили к выходу из блиндажа. Он ещё раз увидел карту с красными и синими стрелками и очутился снаружи блиндажа. Какой приятный свежий воздух! А он, дурак, ёжился по утрам, всячески оттягивал момент, когда нужно будет смыть с себя остатки сна холодной водой. Глупо, как всё это глупо! Он на войне всего лишь третий день, и даже не успел ни разу выстрелить по врагу. А сейчас он должен умереть, почему, за что? Ведь это не их земля! Ведь не он пришёл в их дом убивать и грабить. Почему же он должен умирать? Он даже толком ещё не любил. Не называть же любовью пьяные ласки одиноких женщин из фабричного общежития, охотно соглашавшихся принимать его ухаживания после выпитой на двоих бутылки водки? И это тоже теперь в прошлом, прощайте, бабоньки, не поминайте лихом. Наверное, в минуту перед смертью следовало думать о чём-то возвышенном, о Родине, о товарище Сталине, за которого любой с радостью отдаст жизнь. Но эти мысли просто не лезли в голову. А крикнуть что-то пафосное он бы и при очень большом желании не смог, рот окончательно пересох. Да какая разница, всё равно его сейчас вот здесь, за кустом...

Сначала Константин подумал, что он уже летит на небеса к ангелам, но, больно ударившись о землю, он понял, что ещё жив. И более того, он ясно различал звуки и ещё видел вспышки. Неужели наши пришли менять часового, увидели, что его нет, всё поняли и теперь обстреливают немецкие позиции? Какие молодцы! Чёрт, не хватало ещё погибнуть от собственного артобстрела. А где его провожатый? Ясно, на встрече с полковником. Нужно выбираться отсюда, но как это сделать во вражеском расположении, да ещё со связанными руками? Он попытался приподняться, но не удержался и завалился на бок, ногу пронзила боль. Ну вот, он ещё и ранен, теперь точно не выбраться. И вдруг его осенило. Ну конечно! Он совсем не ранен, у него за обмоткой правой ноги алюминиевая ложка, та самая, которую выдал старшина

по прибытии на позиции. Он тогда ещё жутко страшал всех, что тот, кто потеряет ложку, до конца войны будет есть руками. Вот он и засунул её поглубже в обмотку.

Так, нужно достать ложку. А зачем ему её доставать, чем она поможет? Её всё равно нужно достать, хотя бы потому, что после неудачного падения она впилась в ногу и причиняет боль при движении. И Константин напрягся и стал медленно, сантиметр за сантиметром разматывать обмотку. Вокруг рвались снаряды и бегали вражеские солдаты, а для него всё замерло и все часы мира могли показывать только два времени – до разматывания обмотки и после. Со стороны это могло выглядеть более чем странно: под артобстрелом, лёжа на земле, извивается человек, пытаясь размотать тряпку на своей ноге и нисколько не думая о том, что каждое мгновение в его жизни может стать последним. Наконец обмотка соскользнула с ноги, и ложка прекратила давить на ногу. Что теперь, взять ложку и попробовать ею перетереть связывающую его руки верёвку? Но как это сделать со связанными за спиной руками? Ногу! Нужно просунуть одну ногу между связанных рук, а потом и вторую. Тогда руки окажутся впереди, и он сможет постараться их развязать. Но это оказалось невозможно сделать из-за громоздкого ботинка, который никак не желал пролезать над связанными руками.

Среди царившего вокруг ада лежал человек, осыпанный с головы до ног землёй, и, раскачиваясь на спине, пытался просунуть ногу со снятым ботинком между связанных сзади рук. Ложка помогла разобраться со шнурками. И когда после долгих безуспешных попыток ему это удалось, он встал на ноги, совершенно забыв о втором ботинке, и пошёл искать что-то, чем можно было бы перерезать верёвку. Обмотка давно размоталась, и он шёл, прихрамывая всякий раз, когда босая нога наступала на что-то колющее. Наконец он наткнулся на что-то железное, торчащее из земли, и принялся яростно перетирать об это верёвку. Через несколько минут усилий верёвка разлохматилась, и остаток он перегрыз зубами. Теперь он был свободен, осталось только найти что-нибудь на босую ногу и можно уходить. Где же вы, доблестные мёртвые солдаты рейха? Вы сейчас просто необходимы. Ну вот же он, красавчик, как красиво лежит, словно в кино. Развалился, сволочь, сейчас сапогами будешь делиться. Рывок, ещё рывок. И опять рывок, и ещё один. Вот они, какие мягкие, кожаные. И носки у гада под ними, а тут ходи вечно разматывающихся обмотках. А ну, гад, давай и носки! Чуть велики, но всё равно хорошо. Так, что теперь делать, куда идти? Бежать? А куда он может убежать, он ведь даже толком не знает, в какой стороне свои, а здесь вокруг одни немцы. Хорошо, что под обстрелом никто не обращает на него внимания.

И вдруг Константина осенило, теперь он точно знал, что делать. Он повернулся и пошёл к блиндажу, а на ходу подумал, что это безумие, ведь у него не было оружия. Но ему было абсолютно всё равно, ведь добыча перестала бояться охотника.

Глава 6. Карта

Идти во весь рост прямо к цели не было никакой возможности. Пусть жертва перестала бояться охотника, но и прилетающие издали снаряды тоже никого не боялись и требовали к себе минимального уважения. И поэтому, услышав знакомый звук, следовало с почтением втягивать голову в плечи и сгибать туловище в полупоклоне. Так Константин и шёл, временами приседая, а то и утыкаясь носом в землю, к своей цели. Она манила и звала его, словно то тёплое море в закатных лучах, что он видел в своём сне. Он чётко видел её, хотя успел заметить всего лишь мельком. Но стоило прикрыть глаза, как она ясно всплывала перед ним, отсвечивая красными и синими стрелками, и её нужно было добыть во что бы то ни стало. И тогда с него снимется весь грех того, что его смогли утащить в тыл врага, а здесь выпытать всё, что он знал. И пусть его сведения не представляли никакой стратегической ценности, по крайней мере по его представлениям, но были ещё люди, которые могли думать совсем иначе. Например, новый командир или особист. Да, они могли думать по-другому. И даже если он и выдумал всё, что рассказал врагу о танках и пушках, что-то могло и совпасть. А тогда из того, кто обманул врага, он становился врагом тем, на чьей стороне воевал. И отмыться было уже невозможно.

Подкравшись к блиндажу, Константин присел и осмотрелся. Было абсолютно непонятно, есть в нём кто-нибудь или нет. Костя осмотрел всё вокруг, пытаясь найти хоть что-нибудь для возможной схватки. Но ничего, кроме ложки за голенищем, надёжно припрятанной, чтобы потом не иметь дел с занудным старшиной, он не нашёл. Так он и пошёл к блиндажу с ложкой в руках. Он и сам не знал, зачем держит её в руке, она не могла ему ничем помочь ни в одном из предполагаемых случаев. Аккуратно потянув дверь на себя, Константин потихоньку начал протискиваться в блиндаж. И вдруг он понял, что ему страшно, настолько, что сердце могло выскочить из груди, настолько, что он мог не то что обмочить штаны, а ещё и чего посерьёзней. Из блиндажа пахло смертью, и она могла запросто принять его в свои ряды. А ещё мог появиться перед ним, безоружным, охотник и опять превратить его в добычу. Но Константин уже принял решение, самое важное из тех, что ему приходилось принимать до этого, и был готов даже умереть. Собственно, смерть обнимала его с двух сторон. Люди с обеих сторон будут стараться его убить, и у каждого на это будет своя веская причина.

Вполборота к нему, напротив рации сидел человек в сером мундире и что-то кричал в поднесённый к самому рту микрофон. Что он говорил, разобрать было невозможно из-за постоянных разрывов. И шагов Константина он тоже не мог слышать по той же причине. Но лучик света, проникший в блиндаж вместе с Константином, привлёк его внимание. Он повернулся в сторону двери, внезапно увидел Константина, закричал «Рус! Рус!» и стал расстёгивать у себя на поясе кобуру. Откуда у него взялись силы на такой прыжок, Костя не понял тогда в блиндаже и не смог вспомнить позже. В момент прыжка он даже не думал, что летит грациозно, словно лев или тигр на свою добычу. Одной рукой ухватив радиста за руку, пытавшуюся вытащить оружие из кобуры, другой он что есть силы начал бить его ручкой ложки по голове, по шее – везде, куда только смог попасть. Немец взвыл и оставил попытки расстегнуть кобуру.

Они сошлись в схватке, выплёскивая на противника всё, что имели, всю обиду на эту несправедливость, когда миллионы людей наслаждаются жизнью, даже не подозревая, что где-то здесь, недалеко от небольшой железнодорожной станции, катаются по полу два человека, каждый из которых любит свою родину и обожает своего вождя. Именно здесь сейчас решалась судьба человечества, ведь именно они и были его представителями и только одному из них суждено было подняться на ноги, а второму – уже никогда, ибо в этой схватке мог быть только один победитель. Здесь был бой без правил, когда каждый делал всё, что мог, чтобы выжить и победить. Они кусались и плевались, били и царапали друг друга, пытались душировать и снова катались, всякий раз сбрасывая с себя своего противника. Наконец Константину повезло: он

увидел перед собой ухо противника, не раздумывая вцепился в него зубами и со всей силы мотнул головой назад и в сторону, отрывая часть солёной, грязной плоти.

Немец издал истошный крик и схватился руками за голову, а у Константина появилось мгновение, в которое он мог опередить своего противника. И он использовал его, как мог, хватая всё, что было в его досягаемости и нанося удары врагу. Он бил и бил его, будучи не в силах остановиться, хотя немец уже с полминуты как прекратил сопротивляться. Но даже после этого Константин ещё с минуту душил его. И только когда убедился, что враг если и не мёртв, то, по крайней мере, точно выведен из строя, он, пошатываясь, встал и несколько секунд тяжело дышал, осматриваясь по сторонам. Наконец он увидел то, что было нужно, сделал шаг и взял в руки флягу, ту самую, из которой совсем недавно, во время допроса, его поили тёплой водой. Открутив крышку, он выпил всё, что в ней было, потряс, добывая последние капли, и откинул флягу в сторону. Достал «парабеллум» из кобуры радиста, сунул его в штаны и подошёл к карте. Отцепил её от досок, к которым она была прикреплена кнопками, свернул её вместе со всеми флажками, сложил и сунул за пазуху.

И тогда он почувствовал, как трясутся его руки и подгибаются ноги. Идти без передышки он был не в состоянии, все силы ушли на борьбу с радистом, безмолвно лежавшим у его ног. Константин не испытывал к нему никакой ненависти, ведь тот не бил его во время допроса, а просто выполнял свои служебные обязанности.

Костя чувствовал, что ему необходимо уносить ноги из блиндажа. На несколько секунд прекратился обстрел, и Костя услышал хриплый голос в рации, постоянно прерываемый помехами. Подойдя к ней, он взял в руки микрофон и произнёс:

– Гитлер капут! Гитлер капут, твою мать!

После этого сдёрнул рацию вниз, уронив на пол, а потом ещё ударил её несколько раз ногой. Он не знал, услышали ли его на том конце, но сейчас ему было всё равно. Этот крик помог ему освободиться от страха и нервного напряжения и прийти в себя. Взведя «парабеллум», он открыл дверь блиндажа и увидел охотника. Они сразу же узнали друг друга, моментально выставив вперёд своё оружие. Ещё мгновение – и оба падут под выстрелами друг друга. Но они замерли, будучи настолько шокированными встречей, что ни один из них не решился нажать на курок. И сейчас они пятились друг от друга, не сводя глаз с чужого оружия. Но они оба хотели жить и понимали, что, нажав на свой курок, немедленно получают ответный выстрел. Это не было трусостью, скорее это был инстинкт, удерживающий от необдуманного поступка ради сохранения собственной жизни. Оба моментально приняли правила новой игры, где главным было не спровоцировать противника на ответный выстрел и погибнуть самому, нет, здесь требовалось отойти на максимально возможное безопасное расстояние, и уже с него, прыгая куда-то в сторону, постараться убить врага. Но до тех пор, пока они будут отходить, каждый должен был соблюдать свою часть только что установленных правил.

Первым нарушил правила игры охотник, споткнувшийся и на мгновение качнувшийся руку с пистолетом. Этот поединок не предполагал игры в благородство, Константин даже и не помышлял броситься к своему врагу и протянуть ему руку. Напротив, ни секунды не раздумывая, он несколько раз нажал на курок, после чего повернулся и побежал в сторону небольшой группы деревьев. Он укрылся среди стволов и, усевшись, позволил себе отдышаться. А когда хотел подняться, почувствовал, что что-то твёрдое не даёт ему разогнуться и поднять голову. Его взгляд, направленный вниз, упёрся в две пары грязных ног в ботинках и обмотках.

«Свои», – подумал Константин, и в этот момент его ослепила вспышка, подобная той, которые пару раз вспыхивали во время его допроса.

– Очнулся! Товарищ капитан, фашист очнулся!

Как очнулся, ведь Константин выпустил в него несколько пуль. Неужели промахнулся? Почему так болит голова? Ясно, он продолжил быть добычей, потому что в него попал охотник. Значит, он потому охотник, что стреляет наверняка в свою добычу.

– Их милитарисчер ранг?

Почему они допрашивают его по-немецки? Ведь они знают, что он не понимает немецкий. И он только что слышал русскую речь, значит, переводчик никуда не ушёл. Что они хотят? Какой-то ранг. У кого есть ранги? У товарища комиссара есть ранг. У кого ещё? К кому всё время обращался охотник? Ведь кто-то сидел рядом, не участвуя в допросе, но всё время наблюдал за процессом. Вспомнил, там сидел подтянутый мужчина в офицерском мундире. Как же к нему обращались? Нужно непременно вспомнить и рассказать, иначе его опять будут бить.

– Оберст.

– Товарищ майор, он утверждает, что он полковник. Я ничего не понимаю, он слишком молод для полковника, на нём наша форма, только сапоги немецкие.

– Освежите ему память.

А вот и вспышка. Почему он её так боялся, совсем не больно. А, это, наверное, так ярко светит предзакатное солнце. Он опять в этом прекрасном месте, где под ногами плещется море. Но почему на этот раз такая холодная вода? И тут он всё вспомнил. Карта! Они же зальют карту! Нельзя им позволить это сделать!

Костя сунул руку за пазуху, к нему тут же кто-то подскочил и ухватил его, не давая её вытащить. Теперь уже двое выворачивали ему руку, стараясь её забрать. А он ведь и не противился, он и сам хотел отдать её нашим. Вы ведь наши? Но если вы наши, то зачем бьёте сапогами по животу, рёбрам и лицу? Ведь это очень больно! Нет, наши на такое не способны – бить своего. А может быть, это враги?

– Кто это у нас тут? Так это же перебежчик Трошин! Поднимайся, Трошин, присаживайся. Давай, расскажи нам, давно ли ты немцами завербован?

Это же особист. Этот ни за что не поверит, что Костя не сам к врагу ушёл. Значит, конец, точно расстреляют.

– Вот, товарищ майор НКВД, карта у него.

– Давайте сюда.

Теперь его жизнь зависит от этих двух майоров, сопливого лейтенанта и от того, что они на этой карте разглядят.

– Ну что, Трошин, давай по-хорошему. Рассказывай нам, как ты на этой карте отмечал для врага расположение наших частей. Сам расскажи, честно и быстро. Ну!

– Разрешите доложить, эта карта захвачена мной в немецком блиндаже.

– А что ты там делал? Насколько я помню, тебя туда с заданием никто не посылал? Ты же на часах стоял? Так?

– Так точно.

– Ну вот, молодец. Давай дальше рассказывай. Кто ещё хотел с тобой бежать?

– Никто не хотел. И я тоже не хотел.

– Ну вот, опять ты упорствуешь. Помочь вспомнить?

– Не нужно. Меня взяли в плен.

– Что ты несёшь, Трошин, ты не в первой линии охранения был. Какой плен? Ты предатель, выдал врагу месторасположение наших войск, отметил всё на карте и даже успел получить за это новые сапоги.

– Велите стащить с меня сапоги.

– И что мы там увидим, ещё одну карту? Ну хорошо, лейтенант, снимите с него сапоги. Ну и что, Трошин, ты хотел нам показать?

– Если я сам ушёл к немцам, да ещё сапоги в подарок получил, то скажите мне, чего у меня ноги израненные?

– А я почём знаю? Вот ты нам и расскажи.

– Эти сапоги я с убитого немца снял. А карту в блиндаже добыл, где меня допрашивали. Били, кстати, точно так же.

– Ты это брось! Не смей сравнивать нас с фашистами! Что ты им там рассказал?

– А что я мог рассказать? Фамилию и имя свои. А я ж больше ничего и не знаю. Мне же секреты никто не рассказывал. Нам в атаку приказали, ну мы и пошли. Отсиделись в воронке и назад. Вы же сами потом приказали одного из нашей роты расстрелять.

– Записывайте, лейтенант: перебежчик Трошин показал на допросе, что прятался в воронке во время атаки вместе с другими трусами. А потом, испугавшись выполнять свой воинский долг, решил перейти на сторону врага и выдать ему расположение наших частей. Перебежчик Трошин уже получил часть нового немецкого обмундирования, изъявив желание служить врагу.

Разговаривать с особистом было бесполезно. В его обязанности входило выявление врагов и шпионов, которых он видел во всех окружающих. И Константин был одним из них, тем более у него не было никакой возможности доказать обратное. Даже если и не перебежчик, то заснул на посту и дал захватить себя в плен. В любом случае расстрел.

– Так, а что у нас на карте? Ты им всё выдал, даже расположение резервной техники. Вот гад!

– Ну скажите мне, откуда я мог знать про резервную технику?

– Нет, Трошин, это ты нам расскажи, кто тебе помогал? Один ты точно не смог бы всё выяснить.

– Хорошо, тогда посмотрите туда, где немцы обозначены. Это я как мог узнать? Что, мне немцы всё рассказали за то время, что я у них был?

– А почему ты полковником назвался?

– Каким полковником?

– Когда тебя спросили, в каком ты звании, почему сказал, что ты полковник?

– Я не говорил.

– В протоколе записано, что сказал, что ты оберст.

– Так я ж по-немецки не понимаю.

– Тогда откуда ты слово такое взял и почему именно оберст?

– Да немец, что меня допрашивал, всё время к какому-то офицеру обращался, тот в стороне сидел. Вот ему он и говорил *оберст*.

– Товарищ майор, вас командир дивизии вызывает, возьмите трубку.

– Какого именно майора он вызывает, не видишь, что нас тут двое?

– Я не знаю, товарищ майор, он не сказал.

– Да, товарищ комдив! Так точно! Захватили перебежчика. Никак нет, с нашей стороны. При нём карта подробная. Что? Сказал, что он немецкий полковник. Никак нет, немецкая карта. Откуда она у него? Сейчас, товарищ комдив. Эй, Трошин, откуда у тебя карта? Товарищ комдив, говорит, что в блиндаже немца убил во время бомбёжки. Есть доставить вместе с перебежчиком!

– Повезло тебе, Трошин, ещё чуток поживёшь. Сбежать не надейся. Руки за спину, пошёл!

Константин стоял напротив генерала и ещё трёх офицеров. Он уже два раза пересказал им историю своего двойного пленения: сначала немецкой разведгруппой, а потом и красноармейской. Он решил не врать, чтобы не запутаться в показаниях. Генерала очень заинтересовало упоминание о полковнике, и Константину пришлось несколько раз описывать его подробней-

шим образом. Для чего это было нужно начальству, ему никто не объяснил. Офицеры склонились над картой и исследовали её тщательнейшим образом.

– Ну, сынок, ты даже не представляешь, что с собой из плена приволок. Если это подлинная карта, в чём я не сомневаюсь, то тебя нужно за неё к ордену представить. Я наградной лист лично подпишу. А пока подожди-ка с другой стороны двери.

Константин кивнул и вышел под присмотр конвойного. За дверью разгорелся яростный спор. Костя старался не шевелиться, чтобы иметь возможность хотя бы частично услышать, о чём речь.

– Не могу, товарищ генерал!

– Да ты послушай меня, старого служаку! Этой карте цены нет! Мы сейчас так по немцу пройдем, что завтра про нас сразу Верховному доложат! И ты себе тоже дырку просверлишь! Я лично тебе обещаю!

– Товарищ генерал! Да поймите вы, у меня допрос запротоколирован! Я ведь человек подневольный!

– Ну давай, майор, думай! Не обижай мне парня! Молод он ещё, дай ему шанс!

– Товарищ генерал, у меня своё начальство имеется. А за такое ему только расстрел полагается! Ну ничего я сделать не могу!

– Ну как же так? Герою – и расстрел. Ничего себе! Давай, звони отсюда своим, доложи, а потом трубку мне дашь.

Увидев, что Константин пытается прислушиваться к разговорам в штабе, конвойный велел ему отойти от двери. Теперь только отдельные слова немного слышались с того места, где ему указал быть конвоир. Через несколько минут дверь открылась, и появились особист и генерал. Оба были в довольно сильном возбуждении. Костя замер, боясь услышать самое страшное. Генерал подошёл к нему и, смущённо глядя в глаза, тихо сказал:

– Извини, солдат, большего для тебя даже я сделать не смог.

Разочарованно махнул рукой и вышел из блиндажа.

Сердце гулко застучало в груди. Всё, этот драный блиндаж будет последней остановкой на пути к смерти. Ноги стали ватными, хотелось плакать. Конечно, он виноват, так глупо попасть в плен. Но ведь он вернулся, правда не сам, его пленили второй раз. Но ведь он добыл карту. Он бился за неё не на жизнь, а на смерть. Он мог десять раз погибнуть, петляя по извилинам немецких окопов, прежде чем достиг командного блиндажа. А потом атаковал радиста обычной алюминиевой ложкой. Конечно, он бился за свою жизнь, понимая, что, вернувшись с пустыми руками, он точно встанет к стенке. Ну всё, он использовал свой шанс, победил в схватке с немцем, добыл карту, рассказал про полковника, но всё равно этого оказалось мало. Да ещё эти проклятые немецкие сапоги, из-за которых особисту понравилась версия, что Костю там уже ждали со сведениями и выдали ему немецкую форму. Какая глупость! Вот сейчас они его расстреляют, ещё посмотрим, кто с него сапоги стащит, не будут же они его хоронить в таком богатстве.

– Конвойный!

– Я! Товарищ майор!

– Этого сдашь под роспись капитану Серкову, пусть отправляет в штрафбат.

Костю вывели из блиндажа. Солнце приветливо улыбалось ему, заставляя шуриться. И настроение людей вокруг казалось празднично приподнятым. Ему оставляют жизнь, и это главное. А в штрафбате тоже люди, может, там такие же бедолаги, попавшие в плен. Главное – он жив, а с остальным разберёмся на месте. Здесь, на передовой, тоже можно погибнуть.

Глава 7. Штрафбат. Раненые. Самуил

– Лодыженков, дай десять бойцов в помощь медсанбату.

– Есть, товарищ полковник!

– Взвод, становись! Взводный, отсчитай десять бойцов! Товарищи бойцы, шаг вперёд! Винтовки поставить в пирамиды, всё снаряжение оставить около пирамид. Взводный, приставить охрану к имуществу! Бойцы! За мной шагом марш!

Такое впечатление, что весь подвижной состав только из теплушек и старых закопчённых паровозов состоит. И все снуют, как муравьи, туда-сюда, туда-сюда.

– Товарищ капитан медицинской службы!

– Да не кричите вы. Привели людей? Двое, возьмите ведра и за водой. Наполняйте ёмкости для воды в каждом вагоне. Кто по плотницкому делу соображает, есть такие? Так, вы четверо в распоряжении старшины Проценкова. А вы, по двое с этими медсёстрами. Ровно через сорок минут всю работу заканчиваете и собираетесь здесь. Разошлись!

Самуил и ещё один боец пошли за грузной медсестрой лет сорока. Подумалось на ходу, что в таком-то возрасте чего баб на войну гонять, чать, мужики сами справятся. Да и бойцу перед боем разве не приятней на молоденькую медсестру посмотреть? Он и воевать крепче будет, если за ним дивчина красивая.

Помогли медсестре подняться в вагон, а потом и сами залезли. Господи, что за запах! Хуже и не придумать, так и воротит с души! А что это? Так понятно, что санитарный вагон, в том-то и дело. Неужели раненых не могли нормально перевязать, тоже мне, медики, называется!

– Сестра... сестричка! Помогите...

– Всем тихо! Сейчас проводим сверку и первичный осмотр. Врач подойдёт чуть позже, придётся потерпеть. Воду сейчас принесут, напьётесь вдоволь.

– Где ж вас так приложило-то?

– Вестимо где, на передовой.

– Как там сейчас?

– Жарко, братишка, ох как жарко!

– А что такое жарко?

– Это, брат, когда черти в аду по сравнению с передовой просто мёрзнут.

– А немец чего?

– А чего немец? Прёт себе. Силища у него немереная! Самолёты, танки, артиллерия! Воюй – не хочу!

– А наши-то что, почему отступают?

– Да потому что, как начало войны прохлопали, так начальство до сих пор очухаться не может. Вот нами дыры и затыкают. А много ль нами заткнёшь, коли даже патронов не хватает да жрать толком нечего. С пустым пюзом много не навоюешь.

– А как там вообще, страшно?

– Страшно? Ты сказки про Бабу-ягу читал? Так это – страшно, а на передовой, мил человек, так это очень страшно! Редко кто в штаны не наложил. Там героем только посмертно можно стать.

Самуил вместе с ещё одним бойцом по команде медсестры поднимал и перетаскивал раненых. Она же делала какие-то только ей понятные пометки химическим карандашом на ладонях раненых.

Когда по прошествии сорока минут их миссия была окончена и они наконец выпрыгнули из вагона, то не могли надыхаться свежим воздухом. Увиденное повергло в шок. И если раньше бойцы, хотя и с опаской, но всё же ожидали прибытия к линии фронта, чтобы на своей

шкуре ощутить, что это за штука такая – война и с чем её едят, то теперь, после увиденного, ледяной страх поселился в душах красноармейцев. А уж после слов, что начальство прохлопало, кто-кто, а Самуил прекрасно, ещё по собственному заводу знал, что это значит. Ошибок наделали, а исправлять, как это уже давно было заведено – если слово *давно* вообще можно было использовать по отношению к советской власти, – будут за счёт простых работяг, заставляя всеми правдами и неправдами работать по две смены и больше, только чтобы хорошо выглядеть перед начальством. Так то завод, а что на фронте?

Проглядело ситуацию начальство, а сейчас затыкают дыры простыми солдатами, не обеспечив их толком нормальным вооружением, – так, во всяком случае, следовало из рассказов раненых. Чего уж говорить о более серьёзных делах, если не смогли обеспечить самым элементарным ни фронт, ни санитарные поезда?

От всего этого чувства безысходности хотелось выть и бежать сломя голову куда подальше. Убежать было невозможно: за штрафниками хорошо присматривали вооружённые сопровождающие в хорошо знакомой всем форме. Такие шутить не будут, им проще отправить тебя на свидание с богом, чем отчитываться перед вышестоящим начальством. А винтовки в пирамидах были без патронов, да и кто выдаст патроны штрафникам до прибытия на передовую? С другой стороны, в его снах и памяти постоянно были те, кого он любил: его жена Рая и маленькая Берточка, которую ему нравилось подкидывать кверху, возвращаясь с работы, и слушать, как она заливается звонким смехом. Он бы и сейчас с удовольствием послушал наяву этот смех, погладил Раю по округлившемуся животику и вместе с ними присел ужинать. Но мечты прерывались грубыми окриками сержантов и старшины, старавшимися загрузить штрафников чем угодно, но от восхода и до заката, чтобы, умаявшись вусмерть, те ни о чём другом и думать не могли, кроме как доползти до своих лежанок.

Глава 8. Под звуки оркестра

Три ряда голых женщин в страхе стояли перед ворвавшимися в барак женщинами в одежде и с повязками, во главе которых была крепкая, среднего роста шатенка с лёгкой проседью. В руках у всех них были деревянные дубинки, их взгляды и то, как они отдавали команды, не оставляли сомнений в том, что дубинки они пустят в дело даже не раздумывая. Больше того, то, как они похлопывали ими по ладоням, явно говорило само за себя: обращаться с дубинками они умеют. Уже несколько женщин, замешкавшихся при построении, испытали их действие на себе и теперь стояли, молча глотая слёзы боли и унижения, но больше всего боясь пошевелиться, чтобы опять не обратить на себя внимание.

Все замерли, и шатенка начала говорить медленно и негромко. В бараке установилась зловещая тишина, стоящие в шеренгах и дрожащие от страха женщины боялись пропустить хоть одно слово.

– Я старший надзиратель, – на чистом русском языке произнесла шатенка. – Для вас меня зовут фрау старший надзиратель. Добавлю, что моя фамилия Рихтер, что в переводе с немецкого обозначает «судья». Скоро вы поймёте, почему бог выбрал для меня именно эту фамилию. И мои девочки быстро вам объяснят, что я для вас не просто судья, а даже больше, чем сам Господь Бог. С этого момента я решаю, кто из вас будет жить ещё несколько дней, а кто уже завтра вылетит дымом из трубы. Сегодня вам повезло, и вас оставили здесь ещё на день, может быть, на два. Скоро вы все здесь сдохнете, это я вам обещаю. Послушные умрут быстро и не больно. А упрямые жидовские сучки будут молить меня о смерти.

При этих словах, чтобы продемонстрировать всю серьёзность своих намерений, она с размаху ударила дубинкой по голове стоящую перед ней женщину. Та мешком свалилась на пол и распласталась, не подавая признаков жизни. Фрау старший надзиратель брезгливо вытерла окровавленную дубинку об куртку одной из своих помощниц. Та даже и не подумала отодвинуться или хотя бы глянуть на то место на одежде, которое окрасилось красно-бурым цветом. Глаза её продолжали непрестанно шнырять по рядам выстроенных женщин в поисках новой жертвы. Кровь на куртке её вообще не заботила. Возрази она хоть взглядом – и немедленно встала бы в строй с остальными жертвами. Только демонстрируя беспрекословное подчинение своей жуткой начальнице и могла она выжить, принеся вместо себя в жертву любое количество обречённых. На них уже была печать смерти, и ничто их не могло спасти от неё, максимум дать ещё сколько-то единичных дней, полных страшного существования. Было ли оно лучше смерти, несущей вечный покой и избавляющей от необходимости трястись от страха и всё равно попасть в её цепкие лапы, но только изрядно намучавшись?

– Все посмотрели на неё!

Фрау надзиратель протянула свою дубинку в сторону распластавшейся женщины.

– А теперь достаточно! Смотреть вперёд! Если кто-то хотя бы не вовремя моргнёт, то отведает моей дубинки. Вы будете беспрекословно выполнять все наши требования. За то, что вам подарили ещё один день, придётся отработать. Сейчас вас распределят по рабочим местам. По пути следования к рабочим местам не разговаривать, по сторонам не смотреть, из строя не выходить. До команды об окончании работы не присаживаться и не отлынивать. За любое нарушение в первый раз получите хорошую взбучку, во второй – пролетите над лагерем серым дымом. Говорить только тогда, когда к вам обратятся. Всё, выводите их.

Помощницы с повязками начали расталкивать женщин, сортируя их по своему усмотрению. Их абсолютно не волновало, что среди тех есть беременные и им трудно выполнять тяжёлую работу. Также им было абсолютно наплевать на то, что сортируемые ими женщины стоят абсолютно голыми. Они быстро и чётко разделили пленниц на несколько групп и повели их по лагерю. Несколько женщин чем-то не угодили и моментально получили удары дубинками.

Все шли молча, боясь хоть чем-то прогневать надзирательниц. Колонны вели быстрым шагом, и Рая почувствовала, что ей не хватает воздуха, и один раз она чуть было не присела, задохнувшись, но идущая рядом с ней женщина поддержала её под руку, и Рая смогла продолжить шагать в строю.

Вскоре женщинам раздали метлы и совки, и они начали уборку территории. Где-то за бараками играл духовой оркестр. Рая слышала знакомые вальсы, но было абсолютно непонятно, для чего нужна музыка. Неужели кто-то здесь собирался танцевать? Никто ничего им не объяснял, они просто не были людьми для окружающих. Они даже не были номерами. Наколи им на руки номера, и они почувствовали бы, что у них есть ещё какой-то шанс зацепиться за эту жизнь. А сейчас они были никем, за их смерти даже не нужно было отчитываться. Надзирательницы ходили между ними, и не было никакой возможности выпрямить спину хотя бы на мгновение. Теперь Рая поняла, почему всем было наплевать, даже мужчинам, когда их вели к бараку абсолютно голыми. Их нагота никого не интересовала, каждый старался просто выжить, прожить ещё один день, занимаясь рабским трудом под присмотром надзирателей, которых кроме как цепными псами и назвать иначе нельзя было. Рая обратила внимание, что у некоторых женщин по ногам течёт кровь. Природные процессы происходили в организме даже на краю жизни и смерти. Ни одна из женщин не осмелилась прервать работу, чтобы что-то сделать с этой кровью. Да и что они могли сделать, не имея ничего под рукой, униженные и напуганные. Одна из беременных охнула, схватилась за живот и осела. Видно было, что у неё начались схватки. Подбежавшие к ней надзирательницы просто забили её дубинками и велели двум женщинам убрать тело. Они с трудом поволокли его вдоль дорожки, ни на секунду не останавливаясь. Раю бил нервный озноб, она чувствовала, как толкается её плод, и понимала, что и ей скоро придётся разродиться, и от этой мысли становилось жутко.

Кое-как женщины дотянули до сигнала, объявляющего об окончании рабочего дня. Их отвели в барак, еды никакой не дали, но надзирательницы вручили нескольким женщинам ведра, и они вернулись в барак с водой. Кружек не было, и измученные женщины бережно, чтобы не опрокинуть, наклоняли ведра и аккуратно пили воду. Страшно хотелось есть, а ещё хотелось согреться и заснуть. Вечерами уже тянуло лёгкой прохладой, а расположившись на голых нарах, согреться они не могли.

Рая попробовала было вытянуться на досках, но не смогла даже распрямить поясницу. Легла на бок, скрючилась, чтобы чуть согреться, и попыталась заснуть. Она то проваливалась в сон, то возвращалась в действительность, вздрагивая от страха. Всю ночь её преследовали страшные картины. Она переворачивала убитого Валеру, думая, что он её муж, а он внезапно открывал глаза, жутко улыбался, растягивая в улыбке синие губы и тянул к ней руки, чтобы обнять. Рая просыпалась с жутким сердцебиением, ребёнок внутри неё тоже был неспокоен и нещадно толкался. Она бормотала ему Берточкину колыбельную, и он затихал, словно бы знал и понимал слова на идише. А может быть, просто чувствуя, что ещё под надёжной защитой, он успокаивался и готовил силы для своего главного боя – появления на свет.

Через некоторое время измученная Рая вновь забывалась тревожным сном, за окнами барака беспрестанно лаяли собаки, в воздухе пахло ужасом. Был ли у него конкретный запах? Вряд ли кто-то смог бы ответить на этот вопрос, но то, что всё вокруг им пропахло, было несомненно. Ноздри втягивали его в себя и, чуть подогревая, выталкивали наружу, где он перемешивался с другими запахами и беспрепятственно плыл по бараку, вновь проникая во все щёлочки своих новых жертв. Он упивался их беспомощностью. Он, и только он был здесь настоящим хозяином. А они были непрошенными гостями, ведь он не звал их в свой барак, они пришли сами. То, что их, измученных, избитых и униженных, привели сюда насильно после нескольких часов стояния у крематория, где им и было место, его не волновало. Они были обречены, и не ему следовало позаботиться о них. Его волновала лишь игра.

Вот он остановился напротив белёсой девушки с неоформившимися грудями, совсем ребёнка. Окинул её своим холодным равнодушным взглядом. Какая недопустимая наивность: она в своём последнем или предпоследнем сне вела себя так, словно пыталась прижаться к своей мамочке. Он бесстрастно скользнул к её ноздрям и скрылся в её груди, а когда он появился вновь, то та, что только что согрела его своим тяжёлым дыханием, забила в страхе, резко села, задыхаясь, и схватилась руками за горло. А он равнодушно скользнул дальше. Нет, он был гораздо гуманнее «фрау старший надзиратель»: она колотила их дубинкой или приказывала своим помощницам забивать их до смерти, а он только забавлялся, лишая их сна и покоя.

Берточка, она бежала, улыбаясь, прямо к Рае. И Рая сделала к ней шаг, чтобы подхватить её. Нет, так, как Самуил, она подбрасывать не умела. Женщинам вообще не свойственно рисковать своим чадом. Она лишь хотела поднять её с земли и прижать к себе. Но, видимо, слишком резко нагнулась, боль пронзила её всю, и она проснулась. Ну зачем, зачем ей не дали увидеть свою дочь хотя бы во сне! Ещё чуть-чуть, и она взяла бы её на руки. А там будь что будет. Уже никто не смог бы их разлучить. Как, как она могла оставить Берточку там, на залитых нечистотами шпалах? Какая она после этого мать? Верните! Верните же матери её дитя! Разве можно так поступать с матерями и их детьми? Это неправильно! Это нечестно! Но ужас уже был здесь, он привычно скользнул между её набухшими грудями, обвил горло и шею, немножко перекрыв дыхание, но лишь самую малость, чтобы он сам смог через оставшееся отверстие проникнуть вовнутрь. Какое это наслаждение – медленно вползает через ноздри и беспомощно хватающий воздух рот, уверенно перемещаясь внутрь и проникая в трепещущие лёгкие.

Он скользил между женщинами на правах хозяина, этой ночью они все принадлежали ему. И не только они. Даже те, кто бил этих несчастных деревянными дубинками, они тоже были его собственностью. Они боялись его даже больше этих обречённых. Ведь этим до смерти был лишь один маленький шаг, сделай они его прошедшим днём у крематория, и не оказались бы в гостях у незримо-жуткого хозяина барака. А те в робах, они слишком хорошо знали, что их ждёт. Сначала их поставят в один ряд с обречёнными, и они будут, как и все остальные, отсчитывать свои последние минуты. А те, у кого ещё не отобрали дубинки, будут нещадно лупить ими стоящих в строю, чтобы хотя бы ещё на несколько мгновений оттянуть тот страшный миг, когда придёт и их очередь встать в этот жуткий строй. И они тоже плохо спали, ожидая момента, когда им придётся по свистку «фрау старший надзиратель» вскочить раньше других, чтобы иметь привилегию бить остальных нерасторопных дубинками.

И «фрау старший надзиратель» тоже плохо спала. С одной стороны, она была среди своих, ведь она урождённая поволжская немка, а с другой – она видела презрительные взгляды своего начальства. Ей не могли простить того, что она родилась не в фатерланде. Она не была своей и не была настолько чужой, чтобы пустить её в расход. Она просто была нужна новой родине как жуткий цербер, терроризирующий своих бывших сограждан. И эту грязную работу они охотно спихивали на неё, ведь она могла отдавать команды на родном для этих несчастных языке, обеспечивая полный немецкий порядок. Они честно давали ей шанс стать своей. Конечно, не настолько, чтобы кто-то из них мог подумать о том, чтобы жениться на ней или посчитать её равной себе. Но ей позволяли есть в одной с ними столовой и иметь персональный уголок. Не так уж и мало, учитывая, что каждый день сотни обитателей лагеря вылетали в трубу под нежные звуки оркестра.

И она каждую ночь дрожала от страха, ведь они просачивались к ней сквозь стены. Все те, кого она забила лично или велела забить своим помощницам. Они не хотели её прощения, они приходили не за ним. Им нужна была она. Они будили её своими истошными воплями, а когда она вздрагивая садилась на кровати, то они, вплотную приблизившись, смотрели на неё своими немигающими глазами. Она гнала их, но они не уходили. И лишь когда она включала фонарик, они отступали в тень, терпеливо дожидаясь, когда жёлтый тусклый луч скользнёт мимо них и

они опять смогут подступить к ней вплотную. Измождённая, она бессильно водила вокруг себя рукой, а потом, зажмурившись, выключала на ощупь фонарь и засыпала, сжимая его в руке. Но она не смела никому показать свой страх или признаться в нём. Наоборот, она топила его в жестокости. И даже волкодав своих не жалела, уже не одна сменила робу помощницы на простую, положенную обречённой. И никакие мольбы не могли её разжалобить, ибо, прояви она милосердие хотя бы один раз, оно взорвёт её изнутри. Ведь с человеческой точки зрения происходящее в этом лагере никак невозможно было объяснить.

Ей не было дела до евреев и евреек. Она не соприкасалась с ними в той долагерной жизни. Они просто стали инструментом достижения лояльности со стороны новой власти. И если нужно было уничтожить их всех до единого, она делала это с обычной немецкой педантичностью. Это снаружи она была жестокой, а внутри... внутри она была несчастной одинокой женщиной. Ей приходилось жестоко расправляться с обречёнными, но что она могла поделать? Спасти их у неё не было никакой возможности, отказаться выполнять свою работу – тоже. Тогда она вылетела бы в трубу серым дымом вместо этих евреек. Разве могли эти чёртовы жидовки понять её? Они видят в ней только «фрау старший надзиратель», а она мечтает о букетике цветов, который мог бы подарить ей один из сотрудников лагеря. Ну хотя бы Пауль, он иногда одаривает её взглядом. Только вот не понять, что это за взгляд. Но она каждый раз замирает, когда он смотрит на неё. Сердце начинает бешено колотиться, и она громче обычного кричит на своих помощниц, а те и рады стараться. Дай им команду – и маму родную забьют до смерти. Пауль смотрит на неё несколько секунд и уходит. А она опять остаётся в недоумении, что значил его взгляд. А ведь она могла бы засыпать с ним в одной постели. И тогда все эти жуткие ночные посетители оставили бы её наконец в покое. Ведь Пауль сильный, он вполне мог бы защитить её от них.

Утро началось с истошного крика надзирательниц. Привычно действуя дубинками, они, как и вчера, быстро построили женщин в три ряда. Начался рабочий день. Сколько он продолжался, никто не мог сказать. Носили в корзинках вещи в сортировочную. Рае повезло, и она смогла там задержаться на пару часов, помогая на сортировке. Но подошедшая потом надзирательница выгнала её к остальным. Опять подметали и убирали территорию. Потом посыпали дорожки золой. Все догадывались, откуда она взялась, но никто не решился открыть рот. Лишь одна женщина осмелилась обратиться к надзирательнице в серой арестантской робе. Она спросила про детей. И тут же получила команду заткнуться и работать, если не хочет к ним присоединиться. Из этого ответа женщины поняли, что детей больше нет в живых. Кто-то заплакал, но дубинки надзирательниц быстро высушили слёзы.

По надзирательницам, одетым в робы, было видно, что они такие же еврейки, как и остальные. Но вели они себя так, словно принадлежали к высшей касте. В лагере, скорее всего, так и было: сейчас, сегодня, они и были той самой высшей кастой. От них зависела жизнь, и они внушали страх. По окончании второго рабочего дня женщины с трудом ползли к барaku. Даже надзирательницы поняли, что не удастся заставить их идти быстрее. В бараке сделали сверку и отпустили отдыхать всех, кроме беременных.

Десяток женщин, беременных на разных сроках, стояли перед надзирательницами. Они не понимали, чего ждать, в любой момент их могли вывести из барака и отправить в небольшое здание, из трубы которого опять вился серый дым, распространяя сладковатый запах. Они стояли, боясь пошевелиться.

– Слушайте внимательно. Всем необходимо избавиться от беременности. Всех беременных завтра уведут отсюда навсегда. Те, кто избавится, ещё чуть-чуть поживут. Вон там, в конце барака, лежат доски, разрожаться будете на них. Чтобы больше крови нигде не было. Пошли! Быстро! И чтобы было тихо!

Рая не верила своим ушам: им приказывают срочно рожать и объявляют это единственной возможностью спасения. Но как? Как они будут рожать, ведь не у всех подошёл срок? Можно ли сказать, что ей повезло больше других, потому что она была уже на сносях и сумела разродиться за несколько часов? Её начавшего плакать малыша одна из надзирательниц ударила с размаха дубинкой по голове, и малыш затих. Рая тянула к нему руки и со слезами на глазах умоляла отдать ей ребёнка. Но надзирательница ткнула её дубинкой, давая понять, что разговор окончен, и Рае пришлось смириться, тем более она понимала, что ребёнок уже мёртв.

Ещё трём женщинам удалось разродиться в течение ночи. У каждой немедленно забрали дитя, били его дубинкой, выносили из барака и окунали в бочку с водой. Убедившись, что ребёнок мёртв, его бросали тут же, рядом с бочкой. Неизвестно откуда налетевшие стаи крыс с остервенением вгрызались в нежную плоть новорождённых. Роженицы прикипали к щелям барака, наблюдая, как крысы уничтожают самое дорогое на свете – их детей. Роженицы металась, пытаясь вырваться из барака и помчаться к своим малышам, но неизменно наткнулись лишь на удары дубинками. Они были не в состоянии противостоять относительно сытым агрессивным надзирательницам, которые тоже боролись за свои жизни, понимая, что многие из тех, кого они так нещадно лупили дубинками, с удовольствием займут их места, чтобы хотя бы ненадолго включиться в борьбу за свою жизнь на другом уровне, том, на котором можно было получить робу и миску баланды и лупить других вместо того, чтобы работать, не поднимая головы. И здесь властвовал общелагерный закон: «Умри ты сегодня, я завтра».

Но они сегодня проявляли в этом всеобщем безумном потоке ненависти настоящий гуманизм. Они давали шанс этим беременным прожить ещё день. А ведь могли просто не предупредить. Они сочувствовали им где-то в глубине своих душ, ведь ещё недавно они и сами были матерями, расставшимися со своими детьми. Просто им повезло, они смогли быстро принять неизбежность потери и подавить в себе боль. И благодаря этому они выжили.

А ещё эти беременные были «золотым резервом». Ведь понятное дело, что они не смогут завтра работать как остальные. И когда «фрау старший надзиратель» потребует крови, то они легко пожертвуют именно ими, потому что из остальных они смогут что-то выжать и выполнить дневное задание, обеспечивив самим себе по миске баланды и надежду на ещё один день в робе помощницы кровавой фрау.

Глава 9. Лагерь (продолжение). Доктор Нахтвейн

Наутро, после того как Рая родила на грязных окровавленных досках, женщин, как обычно, построили перед фрау Рихтер. Тем, кому не удалось избавиться от беременности, велели встать отдельно от остальных. Сделали сверку и из барака вывели беременных и ещё нескольких, особенно измученных, от которых на внутренних работах толку уже быть не могло. Все понимали, куда их ведут, но, будучи напуганными и измождёнными, женщины молчали, не имея сил даже на сочувствие. А может быть, они просто завидовали уведённым. Максимум через час их земная жизнь закончится, и не нужно будет дрожать от страха. А те, кто прошедшей ночью лишился своих новорожденных детей, зачем им нужна была жизнь? Ведь было абсолютно понятно, что выбраться отсюда не сможет никто, а раз так, то чего тянуть время? Ни выбраться, ни родить им уже не суждено. Ещё несколько часов, и они и так будут падать в голодные обмороки, а стервятницы с дубинками в руках будут отправлять их на встречу с теми, кого сейчас увели в крематорий. Но страх был сильнее этих несчастных женщин, он застрял в их лёгких прошедшей ночью, оставив в каждой по частице себя. Это он не позволял им вздохнуть полной грудью и, уставившись на фрау Рихтер, просто плюнуть ей в рожу. Чего они боялись? Почему на грани неизбежной смерти человеку свойственно цепляться за жалкие мгновения, которые он ещё может провести на этом свете?

Вернулись помощницы старшей надзирательницы, отводившие к крематорию несчастных обречённых. Фрау Рихтер взглянула на них и куда-то вбок произнесла:

– Ведите их в барак номер семь.

Они не ослышались? Их ведут не в крематорий? Их ведут в барак номер семь! Какой же он, наверное, уютный, этот барак. Наверняка там им дадут матрасы, подушки, одеяла и одежду. А самое главное – они ещё поживут. Неважно зачем, просто будут выполнять каждодневные каторжные работы и поживут ещё чуть-чуть. Никто не сбежит, и все они вылетят в трубу, даже эти злые суки с дубинками в руках. Но ещё день, а там ещё один, главное не смотреть по сторонам и не видеть чужих страданий. Просто выполнять всё то, что требуется, а если появится возможность занять место одной из тех, что орудуют сейчас дубинками, то вызваться первой и доказать, что имеет на это право. А Рая, разве смогла бы она лупить своих товарищей по несчастью этой деревянной дубинкой? У неё не было ответа на этот вопрос.

Прежде всего ей никто не предлагал занять эту должность. А сил после ночных родов у неё просто не было. Сильная боль буквально разрывала её на куски. Рая с трудом шла, а ещё грудь, она была сильно разбухшая и готовая всю себя отдать тому, для кого она была предназначена. И вдруг Раю пронзила мысль. Она отогнала было её от себя, но та уже угнездилась в мозгу и постоянно сверлила его. Грудь! Ведь там было молоко! Вне зависимости от состояния матери, природа позаботилась о выживании следующего поколения. И она не знала, что этой грудью уже некого кормить. Рая прекратила колебаться: раз в живых больше нет того, кто был первым в очереди на это молоко, то следующая по праву была она. Только не говорить никому и не показывать вида, иначе голодные женщины разорвут её на части. Нужно будет улучшить момент и потихоньку отсосать грудное молоко.

Их вели в барак номер семь, а мысли Раи крутились вокруг собственной груди. От одной мысли, что удастся выцедить из себя хоть сколько-нибудь молока, чтобы самой же его немедленно проглотить, сводило желудок. Она уже чувствовала его сладковатый привкус, и он сводил её с ума. Только найти какой-нибудь закуток и высосать самую малость...

Они стояли снаружи барака, заходя внутрь по восемь человек. Дошла очередь и до Раи. Ей велели сесть на покрытый чужим волосом табурет, и худая высокая женщина ручной машинкой начала её стричь. Машинка была тупой, а женщина явно торопилась, стараясь выдерживать нужный ритм, и оттого непрестанно дёргала Раины волосы. Было очень больно, и Рая

один раз не выдержала и вскрикнула, после чего сразу же получила оплеуху от стоявшей рядом надзирательницы. Было просто счастьем, что она получила простую, хотя и крепкую пощёчину, а не удар деревянной дубинкой. Видимо, приведя их в этот барак и переведя в разряд рабочей силы, надзирательницы станут относиться к ним немного бережней. Вот уже вместо дубинки дают простую пощёчину. Как же зовут эту надзирательницу? Рая никак не могла вспомнить. Она несколько раз слышала её имя, но от сковавшего её страха никакие воспоминания в голову не лезли.

Ей велели перейти в другую часть барака, где, усадив на другой табурет, сделали наколку на руке. Её пронумеровали, словно скот. Однажды она видела грузовик с коровами, которых везли на бойню, Рая запомнила номера, выжженные тавром на шкурах животных. А сейчас она сама была испуганным животным и в любой момент тоже могла оказаться на бойне, и от неё даже номера не останется. Рука сильно саднила и распухла от укулов иглы и какой-то жуткой жидкости. Ни о какой дезинфекции речи не шло. Её просто усадили на табурет, велели подставить руку и грязной иглой с остатками чьей-то крови вывели номер. Но было в этом и что-то хорошее.

Раз сделали татуировку, то женщины получали хоть какую-то отсрочку. Значит, сегодня их не убьют, а раз их не убьют, то обязательно дадут что-то поесть. Хорошо бы это была каша, неважно какая, пусть пшённая или гречневая, но обязательно в миске и доверху. Пусть от неё поднимается кверху пар, а в середине будет кусочек... нет, масла, конечно же, здесь не дадут, пусть будет кусочек комбиджир или маргарина. Какая разница, что будет сверху? Главное, её можно будет быстро съесть, грязными пальцами собрать все остатки со стенок миски и слить. Мыть руки? Кто сейчас мог думать о чистоте рук? Это довоенные чистоплюйские дела! Мыть руки могли почтенные домохозяйки, а кто они сегодня? Ну да, их же повысили в статусе, они теперь номера. Всё, что им сегодня нужно для выживания, выучить наизусть свой номер. Отныне никого не интересуют их имена. Они будут жить в этом лагере просто рядом цифр и этим же рядом вылетать в трубу, когда подойдёт их очередь. Какая разница, как называли их матери? Какая разница, какие нежные имена шептали им их любимые мужчины? Как бы они шептали сейчас? Пятьдесят семь тысяч двести сорок три, я тебя люблю? Разве можно любить какие-то обезличенные номера? А как можно представить лицо любимого человека? На какой номер оно будет похоже?

В следующем отделении барака им выдали заношенные робы. Никого не интересовал размер робы или грубых ботинок. Им просто швыряли из кучи то, что было под рукой, и гнали дальше. Правда дали немного времени, чтобы они могли поменяться робами и ботинками между собой, хотя бы приблизительно подобрав что-то более близкое по размеру. Теперь они стояли в одинаковых робах, с одинаковыми серыми платочками на головах. Их одинаково остригли и посыпали одним и тем же порошком от вшей. А теперь... теперь в барак принесли большой бак с горячей жидкостью и большим половником наливали что-то в миски, и счастливики, уже успевшие получить свою порцию, немедленно начинали её отхлёбывать, обжигаясь и проливая от этого драгоценные капли на пол. Рая с трудом удержала негнуцимся пальцами горячую миску. Конечно, никакая это не каша. Даже невозможно представить, из чего варили эту баланду. Но она текла по пищеводу, попадая в желудок, согревая и пробуждая к жизни весь организм. На какое-то время горячая баланда могла обмануть организм, но он понимал, что полученная порция слишком мала, и требовал ещё. И проглотившие свою порцию с завистью смотрели на тех, кто ещё стоял в очереди. После еды им дали время на opravку.

Рая забилась в самый конец туалета и, улучив момент, когда никого не было рядом, растегнула пару пуговиц на куртке и попробовала высосать несколько капель из груди. Молоко не шло, Рая искусала в отчаянии грудь, но так ничего из неё не выдавила. Отчаяние овладело ею, она так надеялась на эти несколько капель, даже понимая, что молоко это было бы произведено за счёт её же измождённого организма. И всё равно не могла избавиться от желания ощутить

его вкус. Думала ли она в тот момент о том, кому оно предназначалось? Конечно же думала, но в тех условиях, в которых она находилась, ей пришлось отключить всю жалость к нему и к себе и сосредоточиться на собственном выживании. Зачем? Она не знала. А разве кто-нибудь спрашивает себя, для чего он выживает в экстремальных условиях? Для чего раненый солдат борется за жизнь? Да и нужно ли задавать себе такие вопросы? Она молода и пока ещё жива, это её жизнь, и она будет за неё бороться столько, сколько сможет. А потом, когда-нибудь, когда у неё будут для этого время и силы, она сядет в уголочке и будет плакать по своим детям. А сейчас она просто не может себе этого позволить. Как только они увидят жалость в её глазах, она тут же станет жертвой номер один. Эти падальщики хорошо принаоровились определять потерявших силу и надежду, а значит, не имеющих стимула к труду. Зато они трудятся отменно, освобождая землю от лентяек, чьи места с удовольствием займут другие, убившие в себе все чувства. Вот такие и поживут ещё немного. Только так и можно здесь существовать. Нужно стараться изо всех сил угождать надзирательницам, а при случае указать на провинившуюся, чтобы спасти собственную жизнь.

У Раи и её соседок по бараку началась другая жизнь. Прежде всего, хоть они и были постоянно голодны, но дважды в день получали похлёбку, а вечером к ней ещё и крохотный кусочек серого липкого хлеба. Но кто мог выступать контролёром качества? Даже приподнять глаза на надзирательниц опасно. Можно не только лишиться похлёбки, но и поменять статус, заняв место в очереди к крематорию. Но когда же они успели построить на советской территории крематорий? Этот и другие вопросы мучили не только Раю, женщины хотели знать, где они находятся. Однажды одна из них подслушала разговор двух надзирательниц, помощниц фрау Рихтер. И стало понятно, что в какой-то момент поезд пересёк границу и переехал из Белоруссии в Польшу. Но всё равно, ведь эту часть Польши Советский Союз освободил и дал угнетаемым людям свободу, значит, крематориев здесь быть не могло. Не могли же наши строить эти печи. Ведь Красная армия могла принести людям только освобождение, но никак не уничтожение.

К лагерю каждый день прибывали составы, привозящие всё новые партии людей. Главное не смотреть им в глаза и не сочувствовать. Ты же всё равно не можешь ничем помочь. Единственное, что в твоей власти, – попроситься с ними и встать в очередь к крематорию. Их гнали словно скот, выбрасывая слабых из вагонов. После них оставались чемоданы, тюки, оброненные детские игрушки и тела тех, кто уже простился с жизненной суетой. Собрать на телегу чемоданы, погрузить на вторую телегу, быстро промести вагон, чтобы он мог отправиться в путь за новой партией.

Вымотанные дорогой люди ждали, что им дадут еды и питья, они заглядывали в глаза тем, кто был одет в лагерные робы, ища поддержки и ободрения. Но наталкивались только на опущенные книзу лица. А если и удавалось поймать чей-то взгляд, то он тут же ускользал. Им было странно и страшно слышать команды на родном языке. Да, помощницы фрау Рихтер кричали им на идише, и оттого картина становилась всё более непонятной. На этом языке они разговаривали в своих семьях и мамы пели детям колыбельные. А если и ругали кого-то на идише, так это разве ругательства? Разве можно всерьёз обругать человека на этом, таком родном и домашнем, языке? Конечно, они знали ещё и язык того места, откуда их привезли. Некоторые говорили по-польски, кто-то говорил по-чешски, и ещё какие-то наречия и языки могли промелькнуть, но объединяющим для заключённых лагеря было то, что почти все из них, кроме цыган и небольших групп противников режима, говорили именно на идише. Им было странно и непонятно видеть злых еврейских женщин, орущих на них и награждающих ударами дубинок. Как будто они не были такими же еврейками. Как они могли бить женщин и разлучать их с детьми? И собаки, какие страшные и ещё более злые, чем эти сумасшедшие женщины с дубинками в руках! Сытые охранники с трудом удерживали псов на поводках. И страх, разлитый в воздухе и сжимающий лёгкие. Казалось, после душного вагона, пропахшего

нечистотами, можно было вздохнуть полной грудью, но грудь отказывалась впускать в себя свежий воздух. И только один страх, покинувший барак и свободно разгуливавший между вновь прибывших, чувствовал себя привольно. И эти тоже принадлежали ему. Он щекотил их своим дыханием и сковывал их грудь. А потом бросал их, хватаящих воздух верхушками лёгких, словно бы они бежали изо всех сил.

А когда, выполнив необходимую работу по очистке перрона от вещей, погрузки тел и чистки вагонов, Рая возвращалась с остальными на территорию лагеря, то видела вереницу голых людей, стоящих в очереди к крематорию. Надеялись ли они на что-то? Может быть, они думали, что, приняв душ, получают чистую одежду и место в бараке? Они пугливо прижимались друг к другу, пытаясь согреться от чужих тел и получить друг от друга поддержку. И вместе было не так страшно. Раз все стоят, и я буду стоять. Если все движутся к этим массивным дверям, то и я ничуть не лучше остальных и тоже пойду со всеми.

И хотя Рая и остальные женщины из её барака тоже боялись, но у них всё же появилась какая-то определённая уверенность хотя бы на ближайшее время. Иногда кто-то из них попадал под внезапный гнев какого-нибудь немецкого офицера, и тогда несчастная вставала вместе с вновь прибывшими, если не получала пулю прямо на месте. Но все понимали, что они, отобранные для внутрилагерных работ, хотя бы ненадолго, но нужны своим мучителям.

А вскоре произошло ещё одно событие, с одной стороны, давшее надежду на сколько-нибудь продолжительную возможность остаться среди живых, а с другой – погрузившее в пугающую неизвестность. Женщин вызывали по одной в медпункт, откуда они возвращались растерянные и молчаливые. Рая работала на сортировке вещей, оставшихся после очередной партии уничтоженных людей, когда почувствовала, что ей в бок тычут деревянной дубинкой. Рая разогнулась. Ну конечно, это была она, теперь Рая помнила, что её звали Мира. Это она отдавала приказ разродиться всем беременным в течение ночи. Рая тогда так и не поняла, кто она: демон, велевший ей и ещё нескольким несчастным беременным родить свои чада на грязных досках, чтобы увидеть, как их немедленно убивают, или добрый ангел, предоставивший им возможность выжить единственным доступным способом – предать и убить собственного ребёнка. Ненавидела ли она Миру? Ведь она видела, как Мира собственноручно размозжила голову её ребёнка. Иногда Рая путалась в чувствах. Конечно же, Мира была исчадием ада и убийцей, с одной стороны, и такой же жертвой, как Рая и все остальные, – с другой. Ведь делала она это не по своей воле, а её детей тоже уничтожили. Иногда Рае казалось, что Мира с каким-то особенным сочувствием относится к ней и придирается меньше, чем к другим. Но после того, как ей пришлось отведать несколько раз дубинку Миры, она уже не старалась разобраться в том, насколько в той сохранилось что-то человеческое.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.